

Александр
Кандауров



П О
Н К
А П Р А В Л Ю Б В И
Л Е Н И Ю

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Александр Кандауров
По направлению к любви

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Кандауров А. А.

По направлению к любви / А. А. Кандауров — «ЛитРес: Самиздат», 2019

ISBN 978-5-532-06481-2

Александр Аркадьевич Кандауров, 1952 года рождения, по образованию военный переводчик. «Вниз по невидимой реке» – это размышления о стране, которой больше нет, о времени, о людях в разных городах и странах. Мальчик в затерянном в песках городке лёгчиков, школьник в 1960-х в Астрахани, слушатель Военного Иняза, позже – преподаватель, киноархивист, переводчик, интервьюер. «По направлению к любви» – это динамичный текст про то, как из ничего, «не ведая стыда», рождается сильное чувство, как оно переполняет и пьянит, как оно растёт и как умирает в свой срок. Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-06481-2

© Кандауров А. А., 2019
© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

Вниз по невидимой реке	8
Глава 1	8
1	9
2	14
3	15
4	17
5	19
Глава 2	21
1	21
2	22
3	25
4	25
5	29
6	32
7	34
8	35
Глава 3	37
1	37
2	40
3	40
4	41
5	43
6	45
7	46
8	47
9	47
10	49
11	50
12	51
13	52
14	55
15	56
16	56
17	58
18	60
19	62
20	64
21	65
22	65
23	67
24	71
25	72
26	74
27	77
28	78
29	79

30	79
31	81
32	83
33	84
34	84
35	86
36	88
37	89
38	90
39	94
40	95
41	97
42	98
43	99
44	100
Глава 4	103
1	103
2	104
3	105
4	106
5	106
6	107
7	108
8	109
9	110
10	110
11	111
12	112
13	113
Конец ознакомительного фрагмента.	114

Александр Кандауров

По направлению к любви

Памяти моего сына Аркадия и его жены Лизы



*Вспомни свои реки и улицы – эти «длинные вещи жизни».
Их омуты и тупики.*

Побывай на прощание там, где ты смеялся и плакал, оглядывался, чтобы посмотреть и отводил глаза, чтобы не видеть, расставался навсегда и встречался через неделю, обещал помнить и забывал.

Ты был, как все: боялся боли и смерти, любил и предавал, надеялся на прощание и бывал прощён, терял тех, без которых жить невозможно.

А ты жил.

«И сердце на клочки не разорвалось...»

NOTTURNO

Другу моему С. К. Буличу

Тёмную выбери ночь и в поле, безлюдном и голом

В сумрак седой окунись... пусть ветер, провевя, утихнет,

Пусть в небе холодном звёзды, мигая, задремлют...

Сердцу скажи, чтоб ударов оно не считало...

Шаг удержи и прислушайся! Ты не один... Точно крылья

Птицы, намокише тяжко, плывут средь тумана.

Слушай... это летит хищная, властная птица,

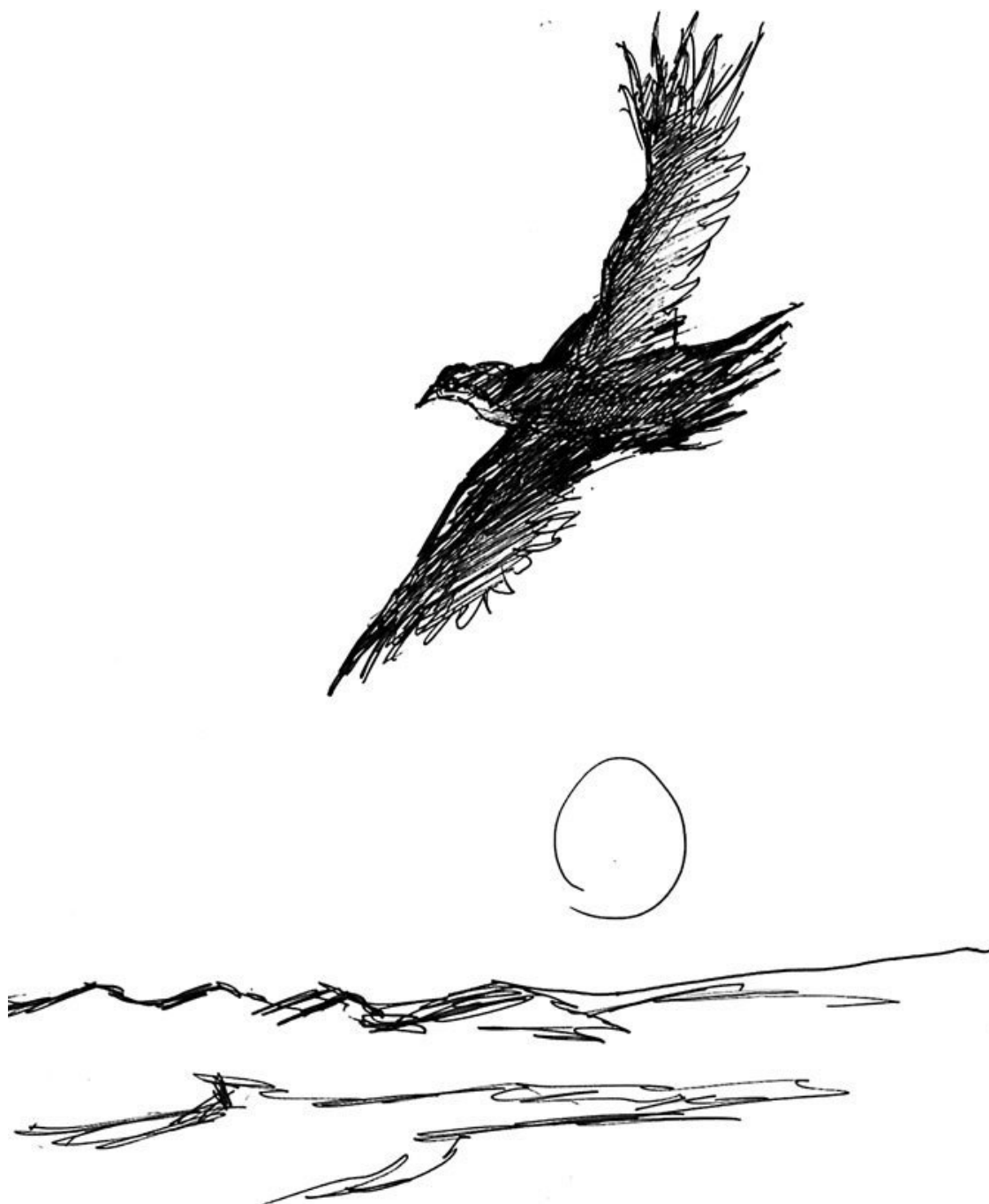
Время ту птицу зовут, и на крыльях у ней твоя сила,

Радости сон мимолётный, надежд золотые лохмотья...

26 февраля 1890

Иннокентий Анненский

Вниз по невидимой реке Часть 1



Глава 1 Жизнь не прольётся чернилами на листе

*Жизнь не прольётся чернилами на листе.
Белым по белому, мелом по бересте, —
она, я уверен, будет едва видна*

в день, когда расплещем ее до дна...

Осень 2004

Аркадий Кандауров

1

Побудь один.

Ну что ты всё цепляешься за эту жизнь, как дитя за юбку, что ты всё никак не можешь расстаться со своими женщинами, всё заглядываешь в глаза своим взрослым детям? Оставь ты их всех в покое. Всё ещё надеешься увидеть в детях себя, да? Своё продолжение? А зачем тебе продолжаться, ты что – Тутанхамон?

Как родился – так и свалишь. Сказал ведь кто-то умный: «Тебе уже показали весну, лето, осень и зиму. Чего ж тебе ещё надо?» Вот о чём пора задуматься. Глядишь, и продолжаться расхочется.

Побудь один.

«Дотянешь чудом до двухсот... А там?» Сколько ты не продолжайся и как не юли, а всё одно: только невидимая река времени единственная не знает конца. Медленно и неостановимо крутится это веретено, беззвучно и неотвратимо тянется невидимая нить твоей жизни в вечный холод, в необитаемый мрак. Только эта река ниоткуда не вытекает и никуда не впадает. Только её воды неумолимо пронизывают каждую клетку нашего тела, равнодушно унося нашу жизнь по крошке, по кровинке.



Побудь один.

Вспомни свои реки и улицы – эти «длинные вещи жизни». Их омуты и тупики.

Побывай на прощание там, где ты смеялся и плакал, оглядывался, чтобы посмотреть и отводил глаза, чтобы не видеть, расставался навсегда и встречался через неделю, обещал помнить и забывал. Ты был, как все: боялся боли и смерти, любил и предавал, надеялся на прощение и бывал прощён, терял тех, без которых жить невозможно.

А ты жил.

«И сердце на клочки не разорвалось...»

Почему тебя так тянет ещё раз побродить в этих потёмках, зачем ты запускаешь руку в этот мешок? Тебе кажется, там спрятано что-то важное про тех, с кем ты прожил эту жизнь и про тебя самого? Ты хочешь нащупать это важное, собрать хоть какие-то камни?

Что ж, загляни напоследок в эти чёрно-белые окрестности себя, любимого. Прошвырнись по центрам и предместьям городов, где ты бывал, по своим полям и лукоморьям. Если кто спросит, скажи: я на прощанье, я тихо, я никого не разбужу.

Невидимый, послунайся напоследок по стеклянным аэропортам, где карты вечно спорят с циферблатами, и только Главный Штурман знает ответ, где все встречаются впервые и прощаются навсегда, где тебе вечно наобещают с три короба, измучают в болтанке, а как ни крути – всё равно посадят там же, откуда взлетал.



По вокзалам твоей большой страны с их замызганными вагонами, ослепшими и онемевшими от избытка проносающегося мимо них бесконечного, чужого, злого пространства, с их платформами, которые всё время принимают отъезжающих за провожающих и наоборот. С их залами ожидания, где время стреножено, приручено и приковано к колёсной паре. С их станционными буфетами, где вечнозелёный сыр в целлофановом удуше сначала загнулся, а уж только потом пропотел.

Пройдись по своим школьным коридорам, где всё бегают ловкие, быстрые дети, обтекая грузно бредущего педагога, и всё чего-то, как птицы, кричат.

Загляни на прощание в классы, где ученик смотрит на жизнь за окном, как смотрит на происходящее в комнате рыбка из аквариума, где не знающие ответа на собственные вопросы взрослые предлагают тебе хорошенько подумать, где для особо одарённых всё повторяют по три раза. Где задёшево отдают сундуки, набитые лежалыми буквами и цифрами, а никто всё равно не берёт.

Вот твои красного кирпича казармы, где ночью у каждой двухъярусной койки стоят две пары сапог с накрученными на них сохнувшими портянками, где спящие не хотят просыпаться до обеда, а визгливые клоуны со звёздами на плечах управляют временем, только ничего у них не выходит. Здесь они такую большую и такую твою свободу мелко крошат и привычным движением ловко бросают на весы. Стрелка ещё ходит ходуном, а тебе уже объявляют цену: всего одна жизнь. Это как игра в напёрстки – ты не выиграешь никогда.

В этих красных казармах учат любить родину. А не родину – не любить.

А это институтские аудитории, где ты окончательно понимаешь, что пропал. Ты только посмотри: вот они выводят на доске формулу, по которой тебе придётся прожить свою жизнь, вот они открывают эти пыльные тома, развешивают графики и выставляют колбы и реторты и всё это, собственно, и есть то, на что тебе предстоит эту жизнь поменять.



А вот классная комната, где в снопе прорвавшегося с улицы солнечного света замерли, как замороженные, учитель и ученица, они смотрят друг на друга и не могут насмотреться. Они не знают, как с этим быть, куда спрятать. Они видят только глаза напротив. Всё куда-то подевалось: ни тебе звезд на небе, ни закона в душе. Бедные, они не ведают, что звезды вернутся и ослепят, и закон застучит по столу кулаком, и не всякий выстоит, а только самый сильный.



Пройди по церквам, где в полумраке смерть обряжают невестою, где тысячу лет запаливают свечи, чтобы разглядеть друг друга, а их всё задувает сквозняк, и их запаливают снова и снова, но разглядеть так ничего и не могут. Где тем, кто хорошо себя ведёт, раздают крепкий сон.

По больницам, где каждый вечер прощаются до завтра, где одни стонут от боли, а другие не спят от страха перед ней.

По кладбищам, где время снимает маску и показывает тебе своё лицо, и ты смотришь, но ничего не видишь. Где птицы взлетают с деревьев и садятся на кресты, а больше никогда и ничего не происходит. Где ты сам становишься временем. Просто одним из прошедших времён. Плюснимперфект.

По подвальным и полуподвальным пельменным, закусочным, рюмочным и пивным, где за правильные слова дают допить, а за неправильные дают по морде.

По всей своей земле, где никто никого не жалеет.

Побудь один, не зови никого.



Посиди ещё раз в своих комнатах и в комнатах чужих, как гостиничные номера. Всё одно: и те, и другие принимали тебя на время. Они ничьи, они послушно распахивают перед нами свои равнодушные двери, мы согреваем их своим дыханием, своим теплом, выглядываем из окон, выходим на балконы, мы привыкаем к каждой щели на полу, к каждому пятнышку на обоях, а они нас даже не замечают. Им не больно, когда мы делаем в их стенах дырки и вешаем свои картинки, они не затыкают уши, когда мы слушаем свою музыку, не прислушиваются, когда мы молимся своим богам, не отворачиваются, когда мы раздеваемся и ложимся на свои кровати. Не плачут вместе с нами. Их не смешат наши шутки, и не трогает наше горе. Мы очеловечиваем их, а они просто камень, пыль, прах.

Невидимая и всеильная река времени заносит нас в эти комнаты на мгновение, за которое мы проживаем отпущенную нам жизнь, и выбрасывает нас из них, когда выходит срок.

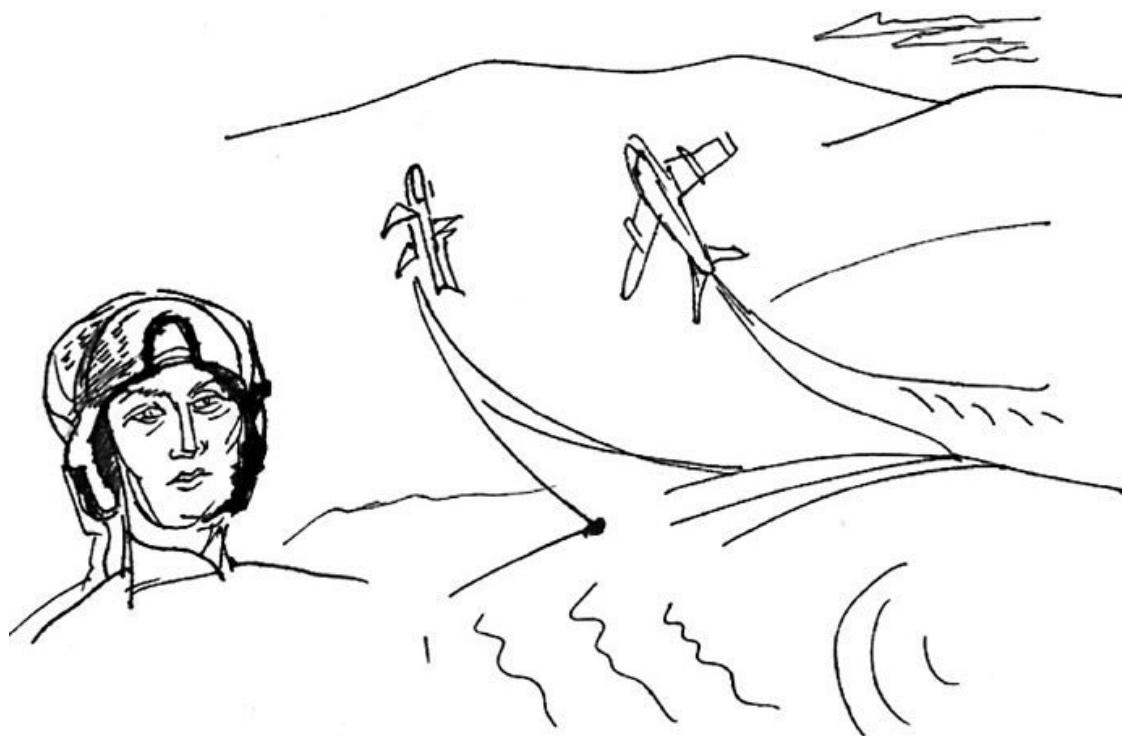
2

Ты пробуешь, но у тебя ничего путного не выходит. Ты привык плыть вниз по течению этой реки времени, а вверх – в сторону истока – у тебя не получается.

В потёмках твоей памяти – то здесь, то там – мелькают тени, картинки, звуки, запахи. Ты пытаешься их поймать, но они обретают плоть и цвет только на мгновение, а потом ускользают, обесцвечиваются, истаивают, и вообще смещаются в другие, недоступные для тебя пределы.

Ты открываешь фотоальбомы, но здесь западня: ты можешь принять случайно выхваченную из потока жизни игру тени и света за реальных людей, которых ты так мучительно и, по сути, бесцельно пытаешься оживить в своей памяти.

«Только бы рук, только бы губ мне не перепутать».



Ты хочешь извлечь из этой темноты хотя бы горький запах взлётно-посадочной полосы, по которой с грохотом разогнался и уходил в белёсое, ещё не проснувшееся азиатское небо твой молодой отец, хотя бы нырок самодельного поплавка из винной пробки на мутной глади арыка или истекающую неправдоподобно сладким соком липкую дынную мякоть.

Тебе жалко, что этот никому не нужный хлам твоей обычной жизни пропадёт, тебе кажется, что ты можешь спасти это своё добро от забвения, просто описав его словами. Забросить на телегу, уходящую... куда?

Только не думай о цели этого предприятия, а то у тебя совершенно опустятся руки. Это твоя делянка, возделывай её.

Как зачем? Чтобы просто попробовать правильно расставить слова.

Не раскисай, не теряй надежды. Поймай этот солнечный зайчик, ухвати какой-нибудь пустяк, глядишь, и покатится клубок, и блеснёт на солнце нить, тонкая, как паутинка.

Пусть это будет какая-нибудь ерунда, ну хотя бы след от твоего велика на почерневшем и дымящемся как суп асфальте военного городка, затерянного в Каракумах. Или варан, забежавший в твой тенистый оазис из пустыни, чтобы спастись от зноя и голода, и разрубленный солдатскими лопатами.

Пусть будет смертельно опасная гюрза, которую ты вытащил вместо рыбы из мутно-жёлтой туркменской реки Мургаб: тогда ты увидел её по-рыбьи крупную сонную морду, её чешую с переливами, позорно бросил удочку и убежал.

Пусть это будет твой первый полёт на выдавшем ещё военные виды ЛИ-2 из Красноводска в Баку, пусть этот сладкий ужас, пусть болтанка над застывшими, «цвета окаменевшей водки» складками Каспия.

Или автопробег на горбатом «Запорожце» по пескам Каракумов, по такыру у отрогов Небит-Дага и дальше за море до старой Астрахани.

3

Ты просишь, собственно, о простых вещах.

Сказать по совести, ну кому, кроме тебя, нужно это сонное озеро у развалин старого Мерва и крепости султана Санджара, эти красноглазые сазаны, дремлющие в камышовой прохладе, эта осыпавшаяся древняя стена с бойницами в Байрамали?

Никому.

Никто, кроме тебя, не знает, что делать с чуть тронутой сиропом, закипающей в горле ледяной газировкой за три копейки, которая извергается из чрева недовольно кашляющего, простуженного автомата на вечерней, полуобморочной, отдыхающей от зноя центральной марыйской улице.

Или с косичкой из сушёной дыни на изнывающем от жары, пыльном марыйском базаре, с косичкой, сплетённой натруженными, опалёнными солнцем, восковыми пальцами старой туркменки в затерянном в каракумских песках ауле. О чём она бормотала? Может, огорчалась, что задевала куда-то марлю и нечем теперь укрыть дынную косичку от мух?

Кто теперь играет в кости-альчики, послушно встающие на алчи или таган после хитрого броска?

Никто.

Куда пропало искусство кустарного изготовления свинцового грузила из самолётных аккумуляторных пластин?



Не говоря уже о таком пустяке, как лянга (она же маялка) – куске козьей или овечьей шкуры со свинчаткой, которым набивали рекорды ударами щиколотки, финтили носками и каблуками ботинок.

Она же доброго слова не стоит, но и её уже не поймать, и она после очередного удара улетела, не попрощавшись, в холодные небеса. Где она теперь?

Нигде.

Не унывай, ищи, ведь хоть что-то должно было остаться.

Пусть это будет не бабушкин «наполеон» с поедаемыми накануне праздника обрезками и остатками крема, не пенка от вишнёвого варенья, не ёлка из далёкого русского леса с огнями и шарами.

Ладно, на нет и суда нет.

Пусть рыбий жир, пусть вой ночной сирены, поднимающий пилотов по тревоге, пусть ожидание отца из многодневного перелёта...

Нет, всё рассыпается в твоих руках, как высохший осенний лист после первого твоего прикосновения.

На худой конец ты уже согласен даже на прививку под лопатку. На бой «до кровянки» с Сашкой Колобовым на грязном дворе школы № 12 туркменского города Мары: оба хотели

делить парту с залётной, таинственной югославской девочкой по имени Надя Кукания в третьем классе, а место было одно.

Ты готов проиграть обратно все деньги, выигранные тобой в «джока» или «Up And Down The River». Сдавайте, ребята, сдавайте, я распишу, это такая классная игра, я вас научу, не бойтесь, ведь если не играть, то и правила забыть недолго!

Увы, нет желающих.

Ты уже почти готов на стыдную операцию, про которую не расскажешь, на детский ночной ужас при мысли о том, как ты будешь с ними всеми прощаться, на мамину хромоту и её обидные крики, всю жизнь летавшие по нашим комнатам, как чугунные ядра, на бабушкино одиночество и слёзы. На папину вынужденную посадку в пустыне, когда его серебристый МИГ не ушёл, как положено, в сыпучий песок, а пронёсся по нему, да так и остался, раскалённый, лежать на каракумском бархане.

Ты уже готов на любые ставки в этой игре без правил, только бы оживить в памяти этот цвет, вкус и запах, только бы удержать их здесь, среди живых, не дать сгинуть в этой равнодушной реке.

«На вершок бы мне синего моря...»

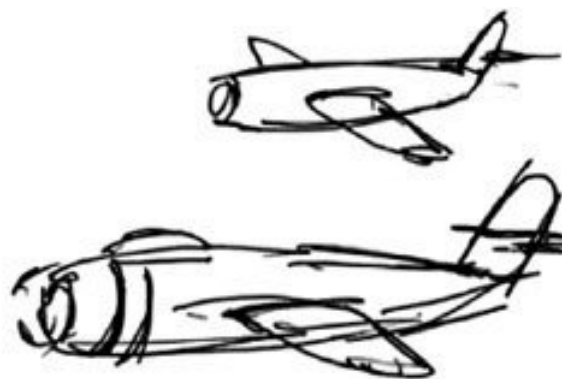
4

Ни тебе вершка, ни корешка.

Увы, ты не Дед Мороз – борода из ваты. Мешок твой не волшебный, Снегурка кому-то звякнула и куда-то слиняла, ёлочка никак не зажигается, дети над тобой смеются, старшие незаметно курят в кулак, родители грозят побить.

На что же ты надеешься? Конечно, на чудо.

Твоя рука воровато и нетерпеливо шарит в мешке, но натывается, увы, совсем не на шоколадного зайца из заграничной рождественской сказки, не на грохочущий зелёный грузовик на верёвке, утопленный в колодце дворовым завистником и спасённый папой при помощи лески и крючка...



Нет в твоём мешке ни югославской девочки с толстой косой и пухлыми губками Мальвины, ни армавирской горячей сливы, лопнувшей от спелости и сладости, ни бумажного змея, склеенного вместе с папой и гордо парившего в синем, не успевающим за ночь остывать азиатском небе над военным городком «Мары-2», над стадионом.

Куда всё это подевалось?

Тщетно ты ищешь паутинно тихое, пахнущее шиповником туркменское утро, головастиков в арыке, увитую виноградом беседку со свисающими кистями.

Может, тебе всё это просто приснилось?

Да нет же, ты хорошо помнишь рёв самолётов, которые папа и другие пилоты пригнали из Белоруссии и на которых прошли прямо над крышами нашего городка, сея весёлую панику, сладковато-затхлый запах, источаемый пожелтевшими страницами потрёпанного толстого тома узбекских сказок из гарнизонной библиотеки, приторный вкус леденцового петушка, купленного на рынке у страшной беззубой цыганки.

Зачем тебе всё это сейчас, несколько жизней спустя?

Признайся хотя бы самому себе: просто ты хочешь ещё раз прожить один-единственный день, когда все они были ещё живы. А ты этого просто не замечал. Как воздух, которым дышишь.

5

А впрочем, любитель древностей и острых ощущений, получай: вот тебе – для начала – твой нос, расквашенный всё на том же дворе всё той же марьинской школы № 12.

Вот тебе твой изуродованный велик, когда ты отправился на Санджара один рыбачить, а встреченные на беду туркменчата, которые и мечтать не могли о таком «Школьнике», как у тебя, сломали руль, оторвали цепь и отобрали кукан с уловом. Ну да, опять же нос разбили в кровь, как без этого?

Что у нас там ещё? Дальше-больше.

Вот тебе окурки от сигарет, названия которых теперь уже никто не помнит. Ну, эти, как их, самые дешёвые...

Вот пропахшая подмышками школьная раздевалка и следом за ней холодный и гулкий спортзал со стоящими на блестящих хромированных протезах ледяными дерматиновыми чудовищами – козлом и конём – и с матами, тяжёлыми от пыли и от слёз физкультурников и физкультурниц.

«После уроков сразу не сваливай, мы тебя бить будем. Как за что? Да ни за что. Мы новеньких всегда бьём».

Мешочек для сменной обуви не желаете? Бабушка ведь шила. Непроливаечку, прописи. Мы писали, мы писали... Нет? Не хотим обратно в звеньевые? Не любим школьные годы чудесные? Странно. Все ведь любят...

Правду люди говорят: некоторые и сами не знают, чего они *хочут*.

А портвейн из горлышка на заброшенной стройке на спор, и пустой пузырь – об стену? Вспомни-ка, каким ты парнем был! Как вино из горлышка ты пил! Не хочешь? Да ты, братец, перебора.

Ну ладно, пойдём дальше.

Вот засохшая лиловая губная помада случайной девицы посредственной фактуры с одной мануфактуры. Что, опять не нравится? Помада или девица? Девица? А говорил, ничего... Значит, врал? Натурально, врал.

Что у нас тут ещё в мешке?

Много чего: вот вам этикетка от бутылки вина «Волжское», про которое пившие его сказали бы, да сомкнули уста.

Рядом с ней синенькие такие билетки на дневной сеанс в кинотеатр «Комсомолец» по двадцать копеек. Когда денег мало, всё имеет значение. И журнал перед кино тоже. Это знаешь как: если, например, с утра непруха, как пить дать будут «Новости дня». А то и «Советский воин». А если, скажем, весь день всё путём – то «Фитиль».

Вот заполненный от руки авиабилет на рейс самолёта, который давно распилили на лом, потому что он столько налетал, что перестал бояться высоты, а это в воздухе самая опасная штука.

А сказали – усталость металла.

Вот какой-то боевой листок факультета западных языков, упраздненного за ненужностью. Кто его знает, почему. То ли все языки выучили, то ли все враги разбежались. Короче, кроме этого листка ничего не осталось.

А вот торопливо разорванный бумажный пакетик с названием завода резинотехнических изделий. Почему торопливо? Ты что, дурак?

Вот магнитная лента со скрипом рассказывает голосом нашего грустноглазого писателя про его любимую Одессу и про большую беду, которая только и нужна, чтобы мы все как один, а какой-то ряженный полководцем бровастый дед всё гундит сам себе с чёрно-белого телеэкрана про Малую землю, которая всех нас спасла от Большой Беды.

На дне мешка просто обрывки: какие-то привокзальные цыгане, футбольные кубки и хоккейные серии, музыкальные шкатулки и радионяни, сопоты с разноцветными кибитками, кубанские свадьбы с кубинскими романами, финалы и олимпиады, салюты и грамоты, парады и юбилеи.

Необязательные слова, несмешные шутки, сырые плакатные подушки, мёртвые телефонные номера и тараканы номера гостиничные. Прочий хлам твоей длинной жизни.

Унесёшь или помочь?

Глава 2

Возьми на радость из моих ладоней

*Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного мёда...*

Осип Мандельштам

1

Говорят, в самом начале было Слово. Очень даже может быть.

А у тебя в начале, конечно же, будет твоя бабушка, Надежда Ивановна Ярошевич, в девичестве Белобородова.

Она будет твоё всё.

Это она по своему разумению выведет тебя, как сталкер, из зоны твоего детства, минуя все или почти все его опасности, соблазны, страхи и болезни – все как одна смертельные.

Это она сбережёт тебя и перекрестит, когда ты в семнадцать лет навсегда оставишь дом, чтобы потом приезжать уже гостем.

Это её уход станет твоим первым ошеломляющим опытом горя, унижительного, уродливого в своей непоправимости.

Она повезёт тебя на Кубань, спасая от зноя и гнуса Каракумов, всё здесь будет тебе в диковину и в радость. Всё запомнится, как начало жизни.

Бабушка будет покупать тебе самый лучший, самый сладкий, самый пломбиристый в мире пломбир на станции «Прохладная» и показывать в окне поезда коров. Ты обрадуешься: «Баба, смотри, какие ослики», а бабушка станет оправдываться перед попутчиками по купе, что, мол, мальчик вовсе не дурачок, просто сами мы не местные, из Средней Азии едем, у них там коровок нет, одни только аксакалы и саксаулы.

И вот ты с бабушкой на месте. Вы шагаете утром по вымытому летним ночным дождём тротуару, вымощенному булыжником. Солнце уже на полдесятого. Вы с бабушкой идёте на армавирский базар по улице Горького, из-за заборов над твоей головой свисают спелые вишни, на земле под твоими ногами желтеют раздавленные жердела, они же дикие абрикосы.

На тебе сандалии застёгнуты так, что ляпка не трёт, а носки на тебе светло-синие с тёмно-синей полоской. Ты аккуратно так ступаешь, чтобы не раздавить лежащие на дорожке переспелые вишни, к которым уже прокладывают тропу муравьи. Они ведь (вишни, не муравьи же) брызнут, и прощай носки.

Ты ступаешь легко, потом ещё легче, и вот ты уже паришь над дорожкой, но бабушкину руку не отпускаешь.

Голову тебе кружат запахи летнего южного утра: там и зелёная краска, которой дядя Миня красит забор, и спелый, желтоватый с продавлинками абрикос, и жареные семечки, которые почти задаром продаёт маленькими стаканчиками нестрашная бабка на углу, и ещё что-то влажное, прохладное, свежее: яблоки, мята, скошенная трава.

Ты разглядываешь клумбы со смешливыми анютиными глазками да дурашливыми ромашками. Просто рай на земле, умирать не надо.

Ты слышишь, как сидящие вдоль тротуара торговки нахваливают свой товар, как керосинщик звонит в медный колокольчик, извещая округу о том, что приехала бочка керосина на подводе, и вот уже выстраивается гомонящая очередь с банками и бидонами.

Кто-то шипит за забором, что варенье едят из розетки ложечкой, а не из банки пальцем, кацап ты неумытый, а кто-то по-русски с сильным кавказским акцентом ругается, что армяне понаехали, и житья не стало.

«Слушай, зачем дома не сидят?»

Всё как у людей.

Вот вы встречаете безмянную ветхую бабушкину знакомую, которая, увидев тебя, радуется: «Как Игорёк-то вытянулся». Это она о твоём дяде, который старше тебя лет на пятнадцать. Отойдя, бабушка досадует: «Вот уж, прости Господи, старой барыни журнал».

Ты не понимаешь, почему та старушка – журнал неизвестной тебе барыни, но с бабушкой не споришь.

Бабушка не любит поминать чёрта, поэтому посылает всех, кто нам с бабушкой мешает жить, к «свиньям собачьим».

Приехавшую в Армавир маму ты не признаешь и обзовёшь «тётей». Наскоро, по-деловому всплакнув, она уедет обратно в Туркмению, чтобы там помогать папе летать на самолёте и ждать, когда будет комната, чтобы забрать тебя и бабушку.



2

Вот из-за соседского забора выплывает, не замечая никого, бабушкина вечная подружка Полина Борисовна – очень опрятная, завитая и подкрашенная, не по-здешнему одетая, почти бесплотная, маленькая, вполне себе бодлеровская старушка трудной судьбы.

У неё никого и ничего нет. Земное притяжение уже почти не удерживает её. Она существует отдельно от этого города, этой страны и этого века.

Армавирская пыль не пристаёт к игрушечным чёрным лакированным туфелькам Полины Борисовны. На ней чёрная юбка до пят. Манжеты её белоснежной блузы вскипают и пенятся кружевами.

Вот вы с бабушкой приходите к ней в гости. Полина Борисовна наливает чай в тонкие фарфоровые чашечки, расставляет крошечные розетки для варенья. У неё всё игрушечное, не настоящее.

«Сашенька, попробуешь айвовое?»

Она ещё спрашивает. Конечно, и айвовое тоже.

Полина Борисовна всё перелистывает пожелтевшие письма на непонятном тебе языке. Сердце её разбито, он предал её. Прошла целая жизнь, а она всё безутешна. Он всё забыл. Если вы у неё спросите, она не вспомнит, какое сегодня число. Зато она никак не может забыть два парижских адреса: от одного она всё ещё ждёт письма, но, увы, тщетно, а по другому адресу уже лет сорок ждут её ответа, но нет, нет, ни за что на свете. После такой чудовищной лжи...

«Нет, Наденька, не надо, пусть всё это уйдёт вместе со мной».

Кто-то обидел её – такую маленькую, потерянную, печальную, и тебе жаль её.

Посмейтесь, что же вы не смеётесь? Впрочем, это делает вам честь.

Полина Борисовна, Ваша жизнь и чище, и значительней жизни многих Ваших попутчиков по двадцатому веку, который так долго откладывался, а всё равно застал всех врасплох.

На ваших руках и манжетах нет крови. Откуда ей взяться? Вас никогда не занимала вполне себе безумная идея всеобщего равенства и несвободы, братства и нищеты, бодрых маршей, доносов и скучных расстрельных списков.



Ведь Вы всю жизнь мечтали о любви. Как жаль, что я могу говорить сегодня только с Вашей тенью.

Полина Борисовна, сегодня никто больше не перелистывает Ваши старые письма, никто больше не ждёт от Вас ответа, на всём белом свете никто уже не помнит Вашего имени-отчества, кроме меня.

Вот оно звучит ещё раз, и ещё, вот и в последний раз, вот и оно уплывает вместе с другими именами вниз по медленной невидимой реке.

Теперь прощайте.

3

На базаре вы с бабушкой быстро минуете привыкших к жизни стариков, разложивших на нечитанных газетах какие-то железки и склянки, а также никогда не замолкающих тёток с кофточками и чулками в руках.

Вы сразу направляетесь под гулкие белые своды крытого рынка, где всегда прохладно, где на длинных каменных столах стоят ряды стаканов и банок, в которых холодное топлёное квашеное молоко с коричневой пенкой. Ты замечаешь, что торговки в этом ряду – самые аккуратные и приветливые на всём рынке. Они все в белых фартуках и косынках, они радуются, что вы с бабушкой к ним пришли. Они или снимают пенку, или со звоном размешивают её в стакане ложечкой – это как ты попросишь – и ты пьёшь.

Всю жизнь, оказавшись на южном базаре, ты будешь маниакально спешить в молочный ряд и пить это молоко, известное под разными названиями в разных уголках твоей большой страны, которой больше нет.

Бабушка тем временем в соседнем ряду выбирает куриные потроха на суп. Они лежат на прилавке маленькими жалкими бледно-синеватыми кучками: горло, лапки, крылышки, сердце, желудочек. Всё это никак не напоминает бегающих по берегу Кубани глупых живых кур, и горькая куриная участь не трогает тебя.

«Дамочка, да вы только гляньте, это же не курочка, это ж мёд с сахаром». Тебе нравится слово «дамочка», но бабушку не собьёшь, и она продолжает выбирать.

Потом бабушка пробует сметану, которую торговки кладут ложечкой прямо на тыльную сторону её ладони. Потом она покупает душистое подсолнечное масло, которое наливают особой мерной кружкой в нашу бутылку через воронку, и ещё муку.

«Это мы с Сашенькой напечём блинчиков, а вареники налепим с вишней».

Ты помогаешь бабушке тащить покупки до дома, досадуя, если на вашем пути возникает кто-нибудь из её многочисленных армавирских знакомых, с которыми приходится разговаривать, перекладывая из руки в руку режущие пальцы ручки авосек.

«Надолго в родные края? А как там Ирочка? Несладко, наверное, в Средней Азии-то».

4

Ты уже знаешь, что раньше у бабушки был папа, который был портной и очень бабушку любил. Ты его хорошо понимаешь, бабушку любить совсем не трудно.



Всем он был хорош, но была одна беда: два раза в год он запирался в сарае и никого к себе не пускал ровно десять дней. Всё это время он пил водку. Потом выходил, исхудавший, бледный и пристыженный, и опять портняжил примерно полгода до следующего запоя.

Однажды он в жару выпил холодного пива и от этого умер.



Бабушка расскажет тебе, что он был еврей и сирота, которого пожалел станичный казак и взял к себе в дом, окрестив Ваней и дав свою фамилию – Белобородов.

Ты удивишься словам «еврей» и «казак», а также тому, что можно пить водку, а умереть от пива, но бабушке ничего не скажешь.

Как станичная родня ни старалась сделать из еврея Вани казака, ничего не выходило. Ваня не любил и боялся лошадей. Вышел из Вани портной, причём портной хороший. Только очень нервный.

Ещё у бабушки недолго была мама, которая рано умерла от болезни. Потом была мачеха, вторая жена её папы. Она не пила ни водки, ни холодного пива и, очевидно, именно поэтому ты её и застал.

Когда бабушка вместе с тобой приедет к ней в гости в Лабинку, они примутся так целоваться, утирать глаза и качать головами, как будто мы приехали не из соседнего Армавира, а с русско-японской войны. Потом они усядутся пить чай, а тебя отправят на двор погулять.

Прогулка получится славной только отчасти: во дворе ты первым делом повстречаешь огромного злобного индюка, который будет привычно проживать обычный день своей небогатой событиями жизни и который при твоём появлении заметно оживится.



Он будет выше тебя, он станет противно шипеть, из его жуткого клюва, как тебе покажется, будет свисать большая отвратительная ярко-красная сопля. Его мёртвые ледяные – как у удава – глаза уставятся на тебя, не мигая.

У тебя в туркменском гарнизоне были самолёты, ослы, верблюды, жабы, ящерицы и даже скорпионы, но индюков не было. В буквальном смысле, во всём гарнизоне – ни одного.

Индюк пойдёт на тебя как в последний бой – зло и решительно. Безумец. Если бы только он мог представить себе последствия этой своей минутной слабости, он бы поостерёгся.

Ты же не ведаешь, что можно ожидать от этой жуткой птицы. Ты не будешь готов к такому беспричинному, неожиданному, явному и искреннему проявлению нелюбви. Ты отступишь.

Пытаясь сохранить лицо, ты пойдёшь прочь, за колодец, как бы прогуливаясь и как бы невзначай поглядывая на дом, где бабушка и её мачеха всё пьют свой чай.

Скорее всего, индюк решит, что ты его дразнишь, и ещё более озлится.

Это он зря, ибо ты был готов на мировую на любых условиях. Индюк же расправит свои огромные крылья и пойдёт в атаку. Уже через мгновение он будет носиться за тобой вокруг колодца, и при этом шипеть как продырявленная шина.

Сначала ты станешь нарезать круги молча, как искусственный спутник Земли, но, увидев, что расстояние между тобой и индюком неуклонно сокращается, примерно на пятом витке ты в панике завопишь. Услышав этот сигнал бедствия, на крыльцо неожиданно проворно выскочит мачеха твоей бабушки, которая станет свидетелем твоего позора.

Она же и спасёт тебя от неминуемой гибели. Шепча проклятия в адрес ужасной птицы, причитая и охая, она сделает невозможную, совершенно для тебя неожиданную вещь – она просто схватит индюка за загривок, уволочёт его к сараю и отрубит ему его что-то ещё недовольно шипящую голову.

«Будешь, паразит, знать, как пугать нашего Сашеньку».

Несоразмерность преступления и наказания поразит тебя.

«Да как же теперь он это будет знать? Без головы? Ведь это всё из-за меня... Может, мы так играли. Как же так? Он ведь был хоть и злой, но живой. А теперь?».

На другой день ты увидишь врага в супе, расплачешься и есть откажешься.

5

Ты мал, тебе ещё не ведомо, что всего лет за десять до твоего появления на свет у бабушки был муж, папа твоей мамы и твой дед. И вообще, что она не всегда была бабушкой.

Ты, считай, ещё и не ступил в эту невидимую реку, ты ещё не понимаешь времени, его тягостного, томительного, обманчиво-медленного течения в детстве, его мерного, неутомимого шага в юности, потом бега, потом галопа и, наконец, полёта со стоп-кадром на финише.

И то сказать, если каждый день такой бесконечный, а лето, если уж наступило, то будет теперь почти всегда, тогда что такое тридцать лет? То же, что и сорок.

Или сто.



Ты смотришь на свою бабушку – юную кудрявую гимназистку в красивом облегающем длинном платье, на её теперь уже бесплотных подруг, беззаботно глядящих на тебя с картонных фотографий. Они никуда не спешат, эти девочки с другой планеты, они смотрят в объектив фотокамеры спокойно, слегка улыбаясь каким-то своим мыслям. У них солнечные лица, им трудно стоять перед камерой в образе так долго, покажи сейчас фотограф пальчик – то-то будет смеха.

Идёт шестнадцатый год нового века, им по четырнадцать лет, они почти взрослые барышни из семей, очень старающихся быть хорошими, на них уже заглядываются мальчики-гимназисты. Их жизнь должна стать долгой, в ней должно быть много музыки, цветов, романов и амуров, в ней непременно будут маленькие смешные дети, много ёлок и снегурок, куличей и хороводов, шитья, сплетен, танцев, дней рождения и именин.

Она должна неспешно развернуться бесконечной дорогой под ласковым южным солнцем.

Ничего подобного не произойдёт: им придётся разменять свою единственную и неповторимую жизнь на очереди и хлебные карточки, на ремеслухи и базарную толчею, на отравленные газетные заголовки и осадный быт, на страхи и ворованную радость.

А новый век всё никак не сподобится взглянуть на календарь, всё никак не может начаться, никак не может разродиться смутой, горем и войной.

Ты видишь парня с горящими глазами в форме студента университета. Это твой дед. Ему восемнадцать. Он из огромной семьи станичного священника, ему надоело возить на подводе воду из речки на двор, по которому бродят и верещат гуси, он чувствует, как бежит по жилам кровь, как она бродит, словно молодое вино.

Кажется, сил этих отпущено не на три воза, а на три века. И веры отпущено на троих, и здоровья, а главное – страсти. Как сжатая пружина будет эта страсть всю жизнь распрямляться, спасать, выносить из беды.

Он докажет всему свету, что он способен, он должен выучиться, выбиться в люди, состояться. Он мечтает увидеть Москву и Санкт-Петербург и покорить их.

Ему суждено совсем другое: быть изгнанным отовсюду из-за отца-священника, затаиться на всю жизнь, молчать, переходить на другую сторону улицы, прятаться, жить в своей стране в страхе, быть виноватым по всем кодексам, по всем их статьям, оказаться чужим на родной земле, а через двадцать пять лет и вовсе бросить всех, кого он так любит, навсегда покинуть злую мачеху – родину и умереть в другом Санкт-Петербурге, что в штате Флорида.

Маленький дикарь, родившийся в песках возле аэродрома, ты смотришь на молодую томную женщину в купальном костюме с распущенными волосами, лениво позирующую рядом с коротко стриженным холёным надменным мужчиной у огромного валуна на фоне волн или на узкой тропинке среди диковинных тропических деревьев. Ты понимаешь, что это твоя бабушка и твой дедушка. Что у них нездешние, гордые, глубокие лица, какие нынче увидишь разве что только на старых фотографиях.

Они молоды, они только догадываются про страшное время и безнадёжное место, где их угораздило родиться, им ещё не объяснили правила игры, ещё не предъявили счёт.

Они уже понимают, что их стране не нужны эти крепко, обеими ногами стоящие на земле парни и девушки из бесчисленных огромных семей, рассыпанных тут и там на российских просторах: они воспитаны в другой вере и долг свой перед родиной видят по-другому.

Они уже видят, что их стране нужны другие, готовые бежать петушком за дрожками, готовые клеймить отца и брата, не помнящие родства и не виноватые в этом, не отмеченные каиновой печатью убийцы, а только обманутые, слепые, безязыкие, нетвёрдые в вере, тёмные, не умеющие прочитать, написать, понять.

Но они ещё не догадываются, как сильно их ненавидит родина, как не хочет она, чтобы они были, как задумала она избавиться от них с помощью доноса и лагеря, как хочет убить их непосильным трудом, страхом за родных, болезнью или пулей.

Они ещё не знают, что их и им подобных здесь не должно быть совсем.

Они ещё не знают, что всего через десять зим им уготован обезображенный войной голодный город, разлука, отчаяние и горечь, с которой им, разделённым большим холодным океаном, суждено сойти в могилы и исчезнуть, сгинуть в спокойной невидимой реке.

6

ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ

(Орфография и пунктуация подлинника сохранены)

Дед – маме

1 января 1987

.....

Вспоминаю своё далёкое детство. Ты не знаешь, но возможно, слышала от мамы, что после Нового Года, после Рождества был ещё праздник Крещение, который приходился на 6 января по ст. стилю. А перед этим днём, накануне, был день, который назывался «Голодная кутья». В этот день, в два часа, была служба в церкви, и освящалась вода. И потом дома все собирались в столовой, где был приготовлен постный обед: были пирожки с фасолью, с картошкой, с капустой, был винегрет, что-то ещё, не помню. И завершилось торжество обеденное пиеничной сладкой кутьёю и взваром.

У нас существовал обычай: если кто за столом во время обеда чихнёт, тому отец выдаёт ценный подарок – 10 рублей золотом.

Помню, за столом отец, мать и нас, малышей четверо: Виктор, я, Нина и Зина на руках у матери. В ту пору мне было 4–5 лет. Зине не было и года. Торжественно объявляется, что наступило время, когда первому, кто чихнёт, тут же сразу будет выдана награда. И несмотря на то, что мы голодные, ведь с утра ничего не ели, мы всеми силами стараемся вызвать чих – мы загружаем нос капустой, фасолью, кашляем, но чиха не получается.

И я тогда же пожалел, почему я не знал об этом обычае раньше? Я бы мог потренироваться, что-то придумать, выработать и заработать...

Наши обед подходит к концу. Старания наши бесплодны. И вдруг, как гром среди ясного неба, раздаётся чихание, и чихнула безо всякого основания самая маленькая Зина!

26 января 1987

.....

Со здоровьем у меня уже совсем неважно стало. Моё здоровье на исходе. И уже так надоело мучиться, страдать, что с нетерпением жду – где же конец. Ведь все мои недомогания и неполадки разрушительно действуют на нервы. Бессонные ночи стали терзать меня. Ведь это ужас какой – с вечера до утра мысли, волнения, переживания, масса недоделок гвоздём сидят в голове. Порой мне кажется, что черепная коробка у меня не выдержит напора, лопнет, и всё ненужное и лишнее вытечет

1 марта 1987

С нашим Виктором у нас дружба была с детства. Он раньше меня пошёл в училище, и был он старше меня года на два. Но в школе мы жили как-то раздельно. Я только помню, что меня дразнили как и его, по созвучию – «Ярошка-картошка» или просто «картошка».

Бывало, на зимние каникулы нас приглашала Маруся или Коля. Зимы были тёплые, грязные. И мы были целыми днями привязаны к дому – сидели у окна, следили за гусями соседей и ждали, когда гуси начнут прятать свои носы под крыло. Говорили, что это верный признак – завтра будет мороз, всё подмёрзнет, и мы сможем выйти из дома. И почти всегда Виктор, не дождавшись конца нашего отпуска, уже торопил меня возвращаться в училище. И всегда мы приезжали раньше всех. И летом мы были неразлучны, работали вместе и веселились вместе.

Покупки в местной лавочке были на нашей совести. Бывало, купим голову сахара и еле прём её вдвоём.

Во дворе у нас под акацией стояла повозка для двоих лошадей, и на ней была 40-ведёрная бочка для воды. Очень редко кто-нибудь приходил с парой лошадей, запрягал и ехал на лиман к колодезю, тягал вручную 40 ведер воды, наливал полную бочку и привозил к нам. А обычно это было на нашей с Виктором обязанности. Каждый второй день мы вдвоём, ведром должны были натаскать полную бочку воды с лимана. Мы вооружались парой ведер, коромыслом и таскали, наполняли бочку. Расход воды был очень большой, было много всякой птицы – гуси, куры, утки, цесарки. Стирка, мытьё. Народу ведь было много. И всё это делалось бесплатно...

Часто к вечеру мы для своей публики устраивали цирк – выступали Виктор и я. Была борьба или показывали гимнастические упражнения – кривлялись, дурака валяли, подражая цирку, которым очень увлекались.

На воде Виктор был на последнем месте. Случилось, он катался на лодке один, и лодка легла набок, парус намок. И в школе, и в жизни он был большой неудачник. За это мама его любила больше всех. Не помню, как и почему он выбыл из училища и попал «на псарню». Он и женился на Зое, по-моему, неудачно. Отец её дроголевал, т. е. с лошадыо зарабатывал семье и себе пропитание. Любил выпить.

Её старший брат был глухонемым, и я бывал очень редко у них, страшно боялся его.

Виктор публично отрёкся от своей службы, от отца. И перед войной работал в колхозе, эвакуировался и там где-то умер. Он хорошо пел. Великолепно играл на балалайке, но счастлив, по-моему, никогда не был.

11 марта 1987

.....

Ты не отчаивайся и не переживай уж очень, но я скажу тебе по-честному, что я так устал от тоски и одиночества, так во мне всё болит, так приелось и трудно, что уже нет ни сил, ни здоровья. И руки в бессилии опускаются. И выхода нет. И впереди – пустота.



7

Тебе говорят, что на этой старой фотографии твои бабушка с дедушкой, вот, видишь, здесь написано «Анапа-1932», ты делаешь вид, что впечатлён, ты киваешь, чтобы не обидеть бабушку. Ты не хочешь, да и не можешь размотать этот клубок на четверть века назад. Что разглядишь ты в этой темноте?

Одно и то же время для бабушки и для тебя течёт по-разному: бабушке уже почти не за что цепляться, а ты – ты пока застрял в мелкой протоке, у тебя полно времени на то, чтобы разглядеть и солнечного зайчика, и жука-плавунца.

И вообще ты сейчас думаешь совсем о другом.

Ты вспоминаешь историю, которая приключилась с вашим пожизненным армавирским соседом, толстым и добрейшим дядей Миней Хрусталёвым. Именно ему бабушка продала полдома, когда осталась одна с твоей будущей мамой и Лёкой.

У дяди Мини не было детей, и он любил и баловал тебя, как родного: сюсюкал, придумывал разные ласковые шуточные прозвища, вырезал свистульки, разрешал красить забор и брал с собой погулять.

Гуляли недалеко – до ближайшего пивного ларька. Когда шли, дядя Миня задыхался, хрипел и булькал. Выпив залпом полкружки, успокаивался, показывал тебя друзьям, гордился. Говорю вам, племянник мой. Зовут Сашулька. Откуда? Оттуда! Ты посмотри, ржут, дураки. У меня что, не может быть племянника?

У дяди Мини была пугавшая тебя красная лысая голова, волосатая грудь, синее брюхо и одышка. Ещё у него была жена Раиса, собака по имени почему-то Мальчик и друг – тихий, задумчивый выпивоха, с которым дядя Миня иногда крепко зашибал.

После этих встреч Раиса имела обыкновение отселять дядю Миню с другом в отдельный домик во дворе, который дядя Миня именовал «кемпингом», где они и ночевали на двух солдатских койках, разделённых солдатской же тумбочкой.

Мальчик имел обыкновение запрыгивать в постель хозяина и греть тому ноги.

Однажды ночью, после очередного вечера обильных возлияний и задушевных бесед, крепко уснувшего дядю Миню разбудил ужасный вопль друга:

«Минька, кто здесь у тебя? На меня мужик сейчас навалился и давай душить».

«Может, это Мальчик?», успокаивал дядя Миня.

«Какой *на* хер мальчик, – обижался друг, – говорю тебе, здоровый мужик. Лохматый как чёрт».

Кто нынче помнит наших бездетных соседей Хрусталёвых, давно унесённых медленной – не то, что их родная Кубань – рекою времени? Спасибо вам за ласку, за вечерние посиделки и разговоры, за фартук, полный отобранной специально для тебя самой спелой вишни, за огромный орех во дворе.

Кто ещё вас вспомнит?

Прощай, дядя Миня, прощай, тётя Рая, как славно ещё раз назвать вас по именам, унесённым в неведомые нам пределы медленной, неодолимой рекой.

8

Рядом с армавирским домом, куда бабушка привезёт тебя на лето, спасая от немилосердно-жаркого дыхания Каракумов, будет крутой спуск к реке Кубани, выложенный булыжником.

В одном из домов на этом крутом спуске живёт страшный хмурый дед, который «двадцать лет отсидел, девчонку изнасиловал». Ты представляешь, как он ловит девочку с бантом и не отпускает домой, а вместо этого долго её мучает, а потом сидит за это в тюрьме, а потом возвращается, и ему очень стыдно, ведь все знают, какой он плохой. Когда он выходит из дома, ты отворачиваешься, чтобы он не подумал, что ты тоже всё про него знаешь, ведь он и так мучается, он такой старый, и ему так стыдно.

Ты боишься быстрой ледяной горной Кубани, её мощного течения, которое валит тебя с ног. Ты замираешь, когда соседские мальчишки рассказывают, что они плавают на другой берег Кубани в Старую Станицу и что при этом надо иметь в трусах булавку, чтобы колоть себя в случае судороги.

Ты маменькин, точнее, бабушкин сынок, и знаешь об этом. Ты дрейфишь, но не показываешь вида. Ты не хочешь судорогу. И колоть себя булавкой тоже не хочешь. А ещё ты не умеешь и не любишь драться.

А что же ты в таком случае любишь делать?



Мавзолей султана Саидгерге

Глава 3 И будет жизнь

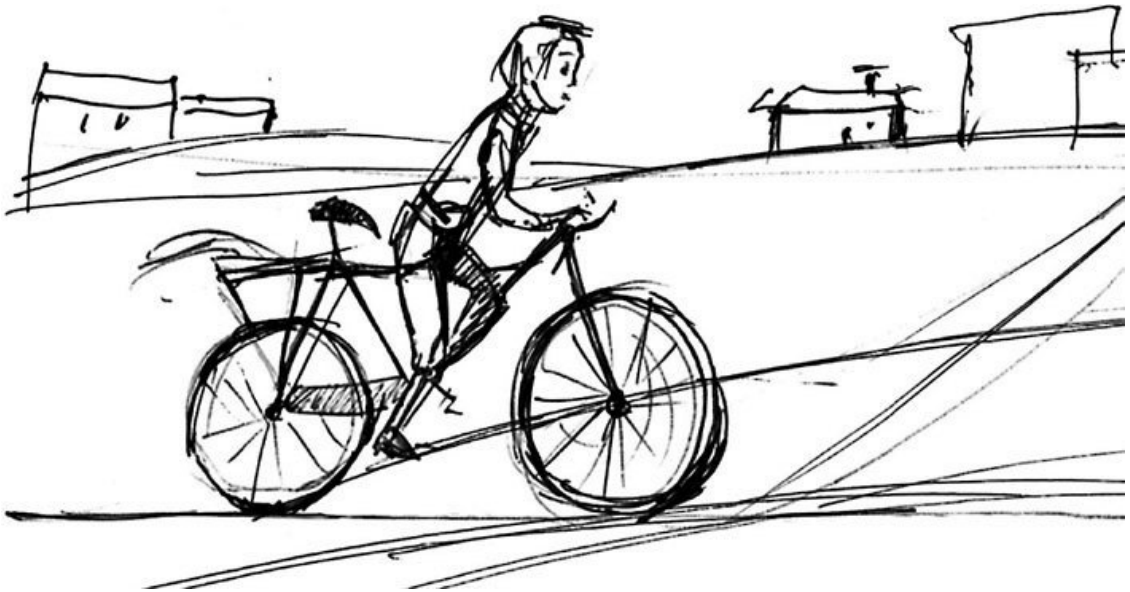
*И будет жизнь с её насыщенным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет всё – как будто бы под небом
И не было меня!*

Марина Цветаева

1

О, много чего!

Ты любишь носиться на своём выдавшем виды велике по изнывающему от жары туркменскому гарнизону, слетать на нём с насыпной горы, той самой, где стоит вращающийся локатор.





Ловить сазанов в озере Санджара на развалинах древнего Мерва или плотву в полноводном арыке на водоразделе за аэродромом.

Лазить по кладбищу самолётов на окраине гарнизона и выламывать или выкручивать уцелевшие приборчики.

Играть в альчики, они же мослы. Плавить пластины самолётных аккумуляторов и изготавливать из жидкого свинца грузила.

Делать «дымовушки» из старых фотоплёнок, которые солдаты выносят из классов в курилку после того, как лётчики поучатся делать аэрофотосъёмку и читать полученные снимки: свёрнутую плёнку заворачиваешь в бумагу, как конфету в фантик, после чего поджигаешь и немедленно гасишь.



Ходить по субботам вместо отца в офицерскую столовую ужинать.

Глушить рыбу бутылками от шампанского. Смотри, это просто: насыпаешь в неё карбиду, потом заливаешь это дело водой, закупориваешь и бросаешь в арык как можно быстрее, чтобы всё это не взорвалось в руке.

Купаться в грязном арыке вместе с голыми туркменскими ребятами, которые, как выяснилось, местами были устроены не совсем так, как мы.

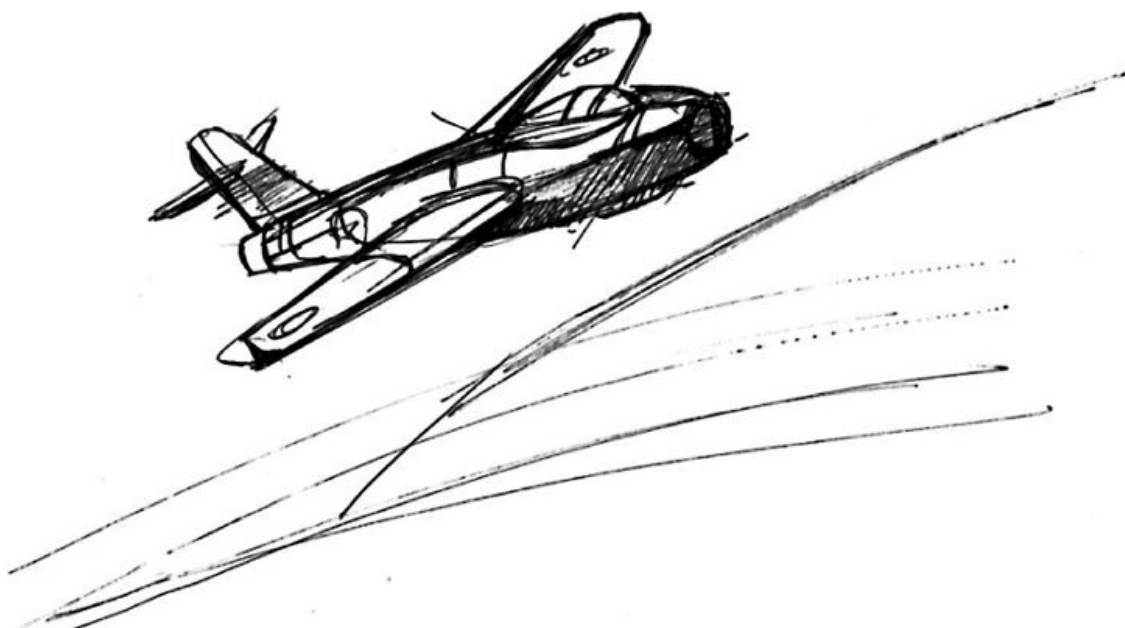
Воровать зелёные яблоки из туркменского колхозного сада, убегая от бабая с берданкой, а потом их грызть, изнывая от оскомины.

Собирать с Валеркой конфетные фантики в летнем кинотеатре рано утром, после вечернего сеанса.

Смотреть на взлетающие и садящиеся МИГи.

Да мало ли.

Но больше всего на свете – читать всё, что попадётся.



К десяти годам ты прочитаешь все детские книги в гарнизонной библиотеке: все сказки, все морские, военные, шпионские и прочие приключения, все рассказы, повести и романы о путешественниках, пиратах, батырах, белогвардейцах, циклопах и даже о героическом белорусском мальчишке-партизане по имени Юрко Крук.

2

Ты даже пересёкся по времени с Чёртом.

Твоя огромная, на десятилетия выпавшая из истории страна покорно и привычно ждала новой большой крови, а он возьми да наконец и издохни в своей кунцевской норе. Ты об этом ничего не знаешь.

А ещё ты не понимаешь, как близко от тебя расположилась большая война. В твоей жизни нет её примет, в твоём городке никогда не было её обрубков, играющих на баяне за монету, папиросу, стакан или просто так, нет вдов и сирот, нет беспризорников, карманников, вокзальных давок, продуктовых карточек, бандитов.

Ты живёшь в резервации здоровых молодых людей, летающих на серебристых самолётах над жёлтой пустыней.

Когда ещё всюю полыхало, твой папа, мечтавший выучиться на доктора, был отправлен из старого обшарпанного деревянного дома на астраханской Канаве в Сталинградскую лётную спецшколу, где был одет, обут и, главное, накормлен. Не досыта, но и с голодухи не помирал. За тем, собственно, и был отправлен туда своим суровым отцом.

Кончится большая война, папа станет курсантом Армавирского военного авиационного училища лётчиков. Потом он расскажет тебе, что, когда хотелось есть, они с друзьями крутили на перекладине «солнце» и, говорят, помогало. Ещё они летали на учебных самолётах, и у твоего отца это здорово получалось.

Пройдут годы, и он станет вторым после командира военным лётчиком первого класса на весь авиаполк, но и этим не заслужит ни любви, ни даже жалости у суровой родины.

А пока курсанты только собираются в местную больницу на медкомиссию. Гогоча и жеребячась, они войдут в зелёный больничный двор, где твой папа увидит девушку – худую, смешливую, слегка прихрамывающую, с серыми глазами и вьющимися волосами до плеч. И выберет её тебе в мамы. Или она его тебе в папы. Бог весть.

3

Когда ты подрастёшь, бабушка расскажет тебе эту историю.

Её муж, а твой дед был из поповичей, за что сразу же после пролетарской революции был изгнан из университета, быстро всё понял, отречься от отца отказался, но переквалифицировался в бухгалтеры.

Надо сказать, что и в этом скромном качестве он продолжал интересоваться ГБ, но удивительным образом не попал в лишённую всякой логики предвоенную мясорубку.

Бабушка была его второй женой.

Когда в Армавир вошли немцы, он трудился в бухгалтерии местного консервного завода. Однажды пришёл домой, расплакался: «Они предложили мне стать директором. Всё, я пропал». Соглашаться было нельзя. Отказываться – тоже.

Он согласился, оттягивая час расплаты. Но этот час пришёл. Советские солдаты подошли к Армавиру. Он не сомневался, что его расстреляют. И ушёл. Думал, может быть утрясётся. Вышло навсегда. С ним ушёл отец маминой подруги Коля Струков с сыном Володей.

Ты приедешь в гости к седому Володе Струкову в Нью-Джерси в девяностом и много чего узнаешь о деде – слабом, вечно сомневающемся, сентиментальном, талантливом, капризном старике со сломанной жизнью, с бойким пером и глазами на мокром месте.

И что тебе в нём сегодня, когда сам уже давно с ярмарки?

«Не расстреливал несчастных по темницам...»

Да нет, какой там. Хотел отсидеться в своей норе, с Наденькой, с хромоножкой-Ирочкой, с маленьким Игорьком-Лёкой. Времена-то сами знаете, какие. Ему было сорок четыре. Твоей маме – одиннадцать. Игорю четыре. Он не знал, что говорить и делать, не был готов к бессмысленному – как на бойне – концу. А его вытащили на совсем не божий свет, раздели на площади, поставили перед стенкой, заставили отвечать на самые трудные, последние вопросы. Кто нашёл в себе силы на них ответить, смело бросайте в деда камень.

Я вижу этот старый, облезлый армавирский дом, покосившийся от бедности, горя, страха и стыда. Белёная мазанка. В нём напуганные голодные люди: бабушка, мама и её брат Лёка.

Бабушка не работает, сидит с детьми. Денег нет. Запасов, накоплений нет. Продуктовых карточек жёнам изменников не полагается. Жёнам изменников вместо карточек полагаются вызовы на допросы в ГБ. Допросы, вопросы, протоколы, угрозы. Оттуда домой, в голодный дом.

Вот в некрашенный ставень стучит робкая рука, пришли соседи-рабочие с консервного завода.

«Ну, хочешь, Надя, мы пойдём, скажем, что и как, что при нём ни одного рабочего немцы не тронули, что не рвался он в директора».

«Нет уж, спасибо на добром слове, не надо, как бы хуже не было».

«Как хочешь. Вот здесь муки немного, ребятам спеки, а мы пойдём».

4

ПЕРВЫЕ ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ

(Орфография и пунктуация подлинника сохранены)

Дед – бабушке

12 сентября 1961 года

Родная моя, дорогая Надя!

Ты напрасно извиняешься за то, что называешь меня не так, как прежде, и за то, что не сразу ответила мне. Я не сержусь на это, да и могу ли я иметь какие-либо претензии к тебе? Спасибо и за то, что ты в состоянии дать мне в теперешних наших условиях, спасибо за то, что сохранила чувства ко мне, спасибо за всё прежнее, спасибо за всё-всё, что ты без остатка отдала мне и семье на протяжении нашей семейной жизни.

.....

Ты знаешь, что с самого первого дня как только нас отправили, я аккуратно, часто на клочках бумажки, записывал свои переживания, волнения, слёзы, и считал каждый день, прожитый без вас; каждый день я записывал: «прошло столько-то дней, как я оставил своих родных, дорогих...»

и т. д.» И вот этих дней стало накапливаться всё больше, больше, я писал – прошло сто дней, прошло двести, триста...прошло тысяча... две тысячи... три тысячи...а я продолжал всё так же остро чувствовать страшное непоправимое горе от нашей разлуки.

Казалось часто, что сердце моё настолько переполнено страданием, что оно не выдержит, оно не в состоянии носить в себе такую непомерную тяжесть. А оказалось, выдержало и работает до сих пор, несмотря на то, что и годы уже достаточные подошли, и обстановка вокруг чуждая и совсем чужая.

В дороге мы плохо уживались, мы много раз расходились, потом опять сходились. Ссориться громко мы не ссорились, но когда к моему страшному горю прибавлялись переживания «местные», я не выдерживал, брал свою сумку, всё остальное бросал и...уходил, куда глаза глядят, хотя глаза мои в это время застилались слезами и ничего не видели впереди.

Потом проходило много времени, судьба опять сталкивала нас, мы были вместе, опять расходились, опять встречались.

.....
А если бы ты знала, как упорно, настойчиво я вынашивал эту мысль – написать, дать знать, что я ещё жив, помню и люблю всех вас. Боялся писать прямо, просил знакомых своих и друзей, кто переписывался со своими родственниками, чтобы те там черкнули вам открыточку обо мне, и каждый раз получал оттуда отказ...

Теперь я – самый счастливый человек в мире, я уже увидел тебя и моих дорогих внуков Сашуню и Юрочку, я имею возможность говорить с вами. Делиться с вами горем своим и радостью. Очень, очень жаль, что произошло это так поздно. Много, многое можно было бы предотвратить и многое строить совсем иначе. Я мог бы и должен был помогать выводить детей в люди, разделить с тобой хотя бы материальные трудности.

«Снявши голову, по волосам не плачут» – говорит наша русская пословица.

.....
А об Игоре ты напиши больше мне...Маленький он был такой чудный, такой ласковый, такой нежный. Как он всегда был готов помогать мне во всём, как всегда, каждый день встречал меня с Ирочкой на углу, когда я возвращался с работы... Помнишь: «Мамочка, помоли меня!» И вдруг Лёка грубый с тобой, с другими. Я не представляю себе этого, ты извини меня.

Соседка Раиса – да, та самая, дяди Минина жена – научила шить бюстгальтеры и продавать на рынке. Бабушка в сорок четыре не жена и не вдова с двумя детишками на руках начинает новую жизнь.

О чём она думала, искалывая неумелые пальцы? Как соседкам – вдовам в глаза смотреть? Как от худой молвы ребят спрятать? Где Боря? И одной плохо, и ему возвращаться не след – ещё хуже будет.

Чего только не передумаешь в бедном домике на отшибе, у спуска к Кубани. Игорёк где-то стал пропадать, видать, в плохой компании. Вон их сколько, пацанов неприкаянных, кто курит, кто уж и попивает. Завтра опять на рынок, а там думать и зевать некогда.

5

ПЕРВЫЕ ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ

(Орфография и пунктуация подлинника сохранены)

Дед – бабушке

Октябрь 1961 года

Дорогая Надя, солнышко моё, ласточка родная!

Понимаю твоё волнение и сам не избежал тяжёлых переживаний. Всё время, всегда у меня было непреодолимое желание сказать вам о себе, во время тяжёлых переживаний пожаловаться на жизнь, в чрезвычайно редкие минуты просветов поделиться с вами радостью. Только боязнь повредить вам останавливала меня, каждый раз хотел кричать от боли и не мог, не хотел испортить жизнь вам. Первые месяцы разлуки я целыми днями и ночами молился и просил, чтобы мне вернуться домой и быть вместе с вами. Не помогло! А теперь и молиться перестал.

Ты пишешь, что тебе было очень трудно растить, воспитывать, сделать хорошими людьми наших детей. Ты думаешь, я этого не понимаю, ты думаешь, я не преклоняюсь перед твоим постоянным колоссальным напряжением, непосильным трудом и твёрдостью характера. Я знал, я был уверен, что ты сделаешь всё, что в твоих силах, чтобы сохранить себя и свою семью в целостности и в порядке. Честь и хвала тебе!

В твоём письме чувствуется какая-то неприязнь ко мне. Ты мне пишешь «Дорогой Борис!» А ты знаешь, ты ведь никогда меня так не называла. Может быть, называла, когда я обижал тебя. Ну, Бог с тобой! Я не в претензии. Заслуживаю большего. И заслуживаю в то же время снисхождения. Много пережил, колоссально много, но об этом не пишу сейчас, напишу в другой раз. Достаточно уже того, что три раза был на операционном столе, резали, и всё только потому, что тяжело работал. Но и это не важно!

Ты спрашиваешь у меня, возможно ли нам увидеться? Несмотря на моё страстное, непреодолимое желание хоть один раз, перед смертью, увидеть всех вас и тогда уже навечно закрыть глаза, несмотря на старость и оставшееся считанное время для жизни, я думаю, что мы не сможем увидеться. Вспоминаю 1936-й, вспоминаю визит за несколько дней до войны и думаю, что мы не сможем увидеться. Можете вы приехать ко мне? Наверное, тоже нет.

Так много должен был написать и ничего не написал. Ласточка, родная моя, ты не сердись на меня. Прости всё, что было, забудь!

Крепко тебя обнимаю, целую, плачу от радости, что могу говорить с тобой.

Твой Борис

Дед – маме

19 ноября 1961 года

.....
Ты коротенько рассказала о том, как вы жили без меня. Я совершенно ясно представил ваши мытарства, переезды с места на место. Но, как видно, вы никому не были нужны, никто не хотел принимать в вас участия. Вы были обречены тянуть безрадостную, непосильную лямку и тем существовать. И маме, конечно, вся эта тяжесть была не по силам. Не готовилась к этим трудностям мама. Не ожидала она, что к концу войны и дальше потом на много лет будет одна и добытчик, и распределитель, и воспитатель.

Тяжело, очень тяжело пришлось ей, бедной. И, конечно, сколько ни имей в запасе, хватить этого надолго не могло. С самого начала, с первых дней нужда стояла сзади, всегда была начеку. И, когда я перебираю в памяти всё, что мне пришлось пережить за эти долгие годы, я не нахожу ничего, что было бы хоть капельку похоже на ваши трудности, на ваши переживания.

.....
Долго мы и медленно двигались в неизвестность, проезжая в день не больше 30 км. Было зимно, морозно; днём оттаивало, а ночью снова покрывало льдом. Тяжело было лошадям тащить повозку по грязи, и мы по временам шли по обочине.

И вот, предоставленный самому себе, с тяжёлым сердцем, с ничего не видящими от слёз глазами, я шагал по вязкой глубокой грязи, в стороне от дороги. И мне странное пришло в голову желание: вот найти бы кольцо. Оно мне не было нужно. И, если бы я рассказал об этом своей компании, меня подняли бы на смех, сочли бы за сумасшедшего, выругали бы. И о чём бы я ни думал, что бы ни вспоминал, в мыслях опять появлялось это желание.

И уж не помню, на какой день после того, как я свихнулся, я шёл по громадным комьям разбитой дороги, сам увязал чуть ли не по колени в грязи, и вдруг перед собой я увидел кольцо. Оно не было золотое, но широкое, настоящее обручальное кольцо. Я его вытер хорошенько, почистил, одел на палец – как раз впору. Тогда я подошёл к Коле и показал ему свою находку. Он посмотрел, повертел в руках и сказал: «Надо променять на молоко, бутылок пять дадут!» Но я его не променял, а позже оно пропало у меня со всеми моими вещами. Это я вспомнил в связи с твоей чудесной находкой.

.....
Многое и в моей жизни не ладилось, часто и я бывал в отчаянии, много пришлось голодать, быть в холоде, приближалась зима, а у меня только одни брючишки и одна лёгкая рубашонка, без заработка, без денег, без перспектив. А потом находились добрые люди, пригревали, помогали найти какую-нибудь работу. Пилил и колол дрова, как дядя Лара цеплялся за каждую возможность и находил выход. А душа постоянно болела, всегда думал о вас, мучился от неизвестности.

Твоё единственное письмо в 48 г. и расстроило, и приободрило, а потом гробовое молчание на долгие годы. Теперь я рад и доволен, что разговариваю с вами, дорожусь каждым письмом вашим, каждым словом.



6

Долог пеший переход из Армавира до Германии. Сначала дед и его попутчики держат путь в Краснодар. Идут по непролазной грязи, тащатся на подводе. Никому не нужные, бросившие дома, жён и детей. Гонит их страх. Гонит жестокий век, заставший всех врасплох. Грызутся, а в одиночку ещё страшнее.

Никто нигде их не ждёт. Бегут от смерти и от всей прежней своей жизни, бегут в никуда от любимых и любящих, бегут без вины виноватые.

Строгая родина, допустившая немца в их дома, и просто так, бывало, расстреливала, а уж за их грех и давно порешит – не извольте сомневаться.

Вот маленькая фотография: дед с какими-то сурового вида мужчинами в одинаковой, похожей на униформу одежде. На обороте написано: «Старое фото. Германия. 1946. Ирочке на память».

Деду здесь сорок восемь. На щеках вертикальные складки, седой бобр. Усталые, но живые глаза. Чистый Голливуд.

Ты знаешь, что это Германия, город Ульм на Дунае. Ему опять повезло: это в американской зоне. Он не хочет в лагерь для перемещённых лиц, там могут выдать, там пахнет ГУЛАГом. Дед голодает, холодает, работает в охране, зарабатывает на хлеб тем, что колет и пилит кому-то дрова, поёт в русском хоре. Хор разъезжает по Германии, поют в деревнях, спят вповалку на сеновалах, им платят картошкой, капустой.

Без дома, без надежды, в страхе проходят годы.

Каким-то непостижимым образом дед устраивается садовником в дом немки – богатой вдовы. Её муж не вернулся с восточного фронта. Её зовут Лотта. Он заболевает, попадает в больницу, его оперируют раз, потом ещё раз, он может умереть.

Сердобольная хозяйка подкармливает своего незадачливого, почти не говорящего по-немецки садовника. Но вот беда: ему нельзя долго оставаться в больнице, ибо русских везде ловят, их с нетерпением ждёт родина.

Лотта забирает ещё не окрепшего Борю, и они женятся. Её многочисленная родня принимает его в штаны. Тогда они продают дом и с сундуком лоттинового честного немецкого фамильного серебра через пару месяцев, в сентябре 1950-го года высаживаются в Нью-Йорке.

Браво, Борис Петрович! Bravo, Mister Yaroshevich! Well done! Продолжительные аплодисменты!

Потом ты углубишься в дедовы письма и увидишь, что всё было не совсем так, как тебе представлялось, что дед уехал в Штаты один, а Лотта приехала к нему много позже, но кого интересует, как было на самом деле? Было и было. И что из того?

Смотри, какая славная история сложилась. Что же теперь, всё переписывать?

7

Году примерно в 48-м, в ещё одном злом и голодном году твоя мама поступает в армавирское фельдшерско-акушерское училище. Вот эта фотография: смешливые девчонки в белых халатах и шапочках смотрят, обнявшись, в объектив. Ещё одна, на ней те же девочки, но после какого-то спектакля: они оделись как черкешенки и нарисовали себе усы. Смеются, всё нипочём.

Вот Алла, дочка ушедшего с дедом Коли, сестра ушедшего с отцом Володи. Она мамина подруга по несчастью.

Это похоже на сон, но это не сон, это был. Вот твоя мама рано утром идёт в училище. Поздняя осень, холодно, ветрено, сыро. Вдруг она замечает на тротуаре кучу денег. Они лежат ровной пачкой, ветер ещё не разметал ассигнации по мостовой. Денег много, но маму научили никогда не прикасаться к чужому.

Она оглядывается по сторонам, вокруг ни души. Они что, ничьи? Её начинает колотить дрожь, она видит свою маму, склонившуюся над швейной машинкой, их пустой, безнадежный дом, где прочно поселилось горе.

Потом, расскажет тебе она, она уже ничего не видит, кроме этой горы денег. Она суёт их в сумку, в карманы, за пазуху, опять оглядывается, но улица словно вымерла. Она бежит домой, влетает в комнату и вываливает деньги на стол. Твоя бабушка хватается за сердце, она устраивает допрос, она хочет знать правду. «Я ещё раз тебя, Ирочка, спрашиваю, где ты это взяла?»

Они прячут деньги в доме и идут на это место посмотреть, не ищет ли кто деньги, чтобы тогда уж по-тихому вернуть. Ходят себе люди, проезжает редкая машина. И всё.

Очень интересно ты рассказала о находке своей. Это похоже на что-то сверхъестественное, случай поразительный, в рамки обыкновенного он не укладывается. Кто так, рассыпав, мог потерять их? Почему никто раньше тебя не увидел?

Тогда они купили мешок муки, сахар, бутылку постного масла, картошки, много ещё чего, но про деньги молчали годами. Они выжили в ту зиму, самую голодную из военных и послевоенных зим.

Потом станет легче. Потом будет папа. Он придёт на тридцать три года.

8

А пока всё у них с твоей будущей мамой идёт по накатанной, как у людей: танцульки в папины увольнения, тёплая компания из бравых курсантов – завтрашних лётчиков и барышень – маминых подруг. Посиделки в бедном доме на отшибе. Гитара, патефон. Чай с баранками.

Учёба шла к концу. Папа предложил пожениться.

Мама потом признается тебе, как она мечтала выскочить за военного: «Куплю пряников, сколько захочу». Ей было восемнадцать.

Бабушка усадила папу за стол. «Аркаша, я тебе должна кое-что рассказать про Ирочкиного отца».

Папа пожал плечами. Ему было двадцать два.

По старинной советской военной традиции, папа обязан представить невесту пред светлы очи отца-командира. Для советского лётчика невеста оказалась неправильная, с червоточиной.

Через пару дней после randevu твоего папу вызовет начальник особого отдела училища. Идёт 1950-й год.

«Слушай, не делай глупости. Тебе что, других девок мало? Ты хороший лётчик, коммунист, из рабочей семьи. Зачем тебе это отребье? Хорош советский лётчик, у которого тесть работал на фашистов. Подумай хорошенько».

Из Лётной книжки майора Кандаурова:

Краткая лётная характеристика по окончании училища «Летает хорошо. Лётную практику усваивает легко. В полётах инициативен. При большой нагрузке в полётах утомления не наблюдалось. Незначительные перерывы в лётной практике на качестве полётов не сказываются. Осмотрительность на земле и в воздухе хорошая».

Папа осмотрелся, подумал – и женился.

9

Родина не простит ему этого никогда. Сначала она отправит его в Узбекистан, а потом – без передышки – в Туркмению.



От жары в кабине МИГа будет темнеть в глазах, а соль от пота будет белыми пятнами проступать на кожаной лётной куртке. Жить поначалу придётся в бараке. Зимой непролазная грязь, летом гнус и зной под пятьдесят.

В таких гарнизонах была принята ротация: пилотов и технарей меняли каждые три-четыре года, отправляя их отдышаться в Группы войск за границу, в Прибалтику или в среднюю полосу.

Папу продержат в Туркмении четырнадцать лет.

В те времена в Афганистане правил король по имени Захир-шах, который, судя по его намерениям всячески крепить дружбу с большим северным соседом, был мудр и дальновиден. Король хотел покупать советские самолёты, но его подданные не умели летать.

Однажды папа придёт с полётов и возбуждённым шёпотом поведаёт маме, что ему и некоторым другим лётчикам предлагают на год отправиться без семей в Афганистан в качестве инструкторов. Выбрали наш гарнизон, потому что лётчики к афганской погоде привычные, и от семей недалеко.

«Ирка, надо рискнуть. Двойные оклады, год за два. Потерпим годик, что же делать. Откажешься, потом уж не предложат». Совещались полночи.

Утром папа пойдёт соглашаться. Пряча глаза, командир промямлит, что папина кандидатура больше не рассматривается.

В 1964 году его в чине майора на должности командира эскадрильи вызовет на беседу боевой генерал армии Иван Федюнинский, командующий войсками Туркестанского военного округа, снискавший если не славу, то уж точно популярность следующими своими словами: «Что за офицер пошёл? Ну, выпил ты бутылку. Ну, в конце концов – вторую, и всё, хватит, остановись».

«Мы знаем, у тебя тесть в Америке. С таким тестем ты выше не продвнешься. Об академии забудь. Комэска – твой потолок. Смотри сам».

Папа смотрел: тот, кого он учил летать, вернулся после академии папиным начальником.

Потом папа будет частенько говорить тебе: «Саня, это тебе не академия, здесь соображать надо».

Полк будет готовиться к переходу на сверхзвук, папа пожалуется на головокружение и уйдёт. Задерживать его не станут. Помогут и пустынные «год за полтора»: в тридцать пять он

заработает пенсию. Только он хотел не пенсию. Как все пилоты, он больше всего на свете хотел летать.

Ты родишься в день папиного двадцатитрёхлетия.
Вот твой папа бегаёт по каршинскому аэродрому:
«Сын родился!»
«Надо же, как Ирка подгадала. С тебя причитается».
Ирке только что стукнуло девятнадцать.

10

Они будут убивать его за непослушание, а он – воспитанный своим жестоким временем и своим жестоким отцом – не будет даже догадываться об этом.

Ранним туркменским утром или глухой беспросветной комариной ночью он будет трястись в гарнизонном автобусе по дороге на лётное поле, запрашивать разрешение на взлёт, уходить в зону, прыгать с парашютом и катапультироваться, а она – суровая его родина – не будет не то, что этого не замечать – она не будет даже знать о его существовании.



О нём будут помнить только армейские чекисты – эти ничему иному не наученные как будто нарочно отбракованные особи человеческого стада.

«Ты зачем тут подслушиваешь? Тебя же подглядывать сюда поставили».

Ты вспомнишь об этом, когда подполковником вместе с товарищем Юрой Кошкиным будешь переводить брифинги для натовцев на полигоне под Львовом, и местный особист в служебном раже попросит у командующего учениями генерала Генералова разрешения посидеть, пригнувшись, в окопе, когда мимо будут проходить иностранцы.

«Это ещё зачем?» – изумится ко всему привыкший генерал.

«Может, чего услышу».

«А ты каким иностранным языком владеешь, полковник», полюбопытствует генерал. Тот потупится. Хотел, как лучше...

Когда папа пойдёт на вынужденную посадку в каракумских песках, чекисты потом полетят посмотреть, куда направлен нос чудом не ушедшего навсегда в зыбучие пески самолета: не в сторону ли границы.

Они будут унижать его ровно с того момента, когда он женится на твоей маме, и они с мамой дадут тебе жизнь, и так до его последнего вздоха.

Это они будут есть за него, пить за него, загорать на лежаках возле тёплого моря, гладить по головкам внуков, до которых он не доживёт, путешествовать за него по землям, которые он никогда не увидит, самозабвенно лечиться, привычно топтаться с бутылкой коньяка в очереди за бесплатной путёвкой, говорить тосты, справлять юбилеи, всё – за него.

Он будет летать над пустыней четырнадцать лет, днём и ночью. Потом он будет приходить домой, курить в темноте и о чём-то своём думать. Потом его выбросят на пенсию, и немного погодя он узнает от мамы, что он – нищий, а дом держится исключительно на посылках из Америки.

«Ирочка, постыдилась бы», удивится твоя бабушка бесстрашно и тут же поплатится за эту свою дерзость.

Он только пожмёт плечами и отправится на очередное дежурство на Наримановский аэродром, где ревут самолёты, а он всё курит и разговаривает с пилотами по радио, разрешая им посадку или отправляя их на запасной аэродром в Минводы, он будет уходить в ночь или рано утром в любую погоду, а ты будешь ждать, когда задребезжит дверной звонок, и ты побежишь открывать и увидишь на пороге папу – бледного, какого-то чужого после ночного дежурства, с чёрными кругами под глазами, но всегда улыбающегося.

«Саня, я сегодня пораньше», и снимает синюю фуражку ГВФ, а от неё на лбу – тёмная борозда.

11

Ты пересечёшься с папой на тридцать лет.

Вы распрощаетесь в январе 1983 года на утопающем в грязи астраханском кладбище. Было место в сухом центре, но выбрали могилу на отшибе, у дороги, чтобы уже почти не ходящая мама могла навещать. Она будет там только однажды, а после уедет к тебе в Москву и больше никогда не вернётся в этот город.

Врачи астраханской железнодорожной больницы сказали, что сердце. Может быть. Но, скорее всего, он просто смертельно устал: количество худо-бедно устроившихся на его шее людей увеличилось с Юркиной скоропостижной женитьбой ещё и на невестку, чрезвычайно воодушевлённую переездом из своей трущобы в нашу хрущобу и обретением перспективного американского деда, а потом и на их дочку.

Вы с Юркой поставите папе памятник на деньги его американского тестя, который переживёт зятя на пять лет. На памятнике – кроме обязательных слов и цифр – маленький, набирающий высоту самолётик с тянущимся за ним форсажным следом. Это папин МИГ-15 из набора открыток «Советская авиация», который вы с Юркой купите в киоске «Союзпечать» и передадите кладбищенскому камнерезу.

За три месяца до своего ухода папа скажет по поводу смерти Брежнева:

«Ну вот, едят вас мухи, вы всё над ним потешались, анекдоты травили, а он взял и умер. Жалко, не злой был мужик».

Ты попробуешь вспомнить хотя бы одного человека, о котором твой отец отозвался бы плохо. Нет такого человека.

Ты перебираешь его старые фотографии. Мальчик с ещё не проявившимися чертами.

Лейтенант и уже твой папа с лицом, от которого почти явственно исходит свет.

Лётчик, похожий на американского киноактёра, играющего лётчика.

В астраханском Братском саду диспетчер гражданской авиации, прячущий правую руку за спиной: неудобно, в руке авоська с продуктами.

Он уйдёт в пятьдесят три. Если бы твой папа взвешивал и раздавал, если бы отмерял и смотрел на часы, если бы обижался и делил по справедливости, если бы просил заслуженной

любви, то и прожил бы дольше, и получил бы заботу и любовь, и не летали бы по дому тяжёлые, как чугунные гири, мамины слова, от которых было больно, как от удара в солнечное сплетение.

Только это был бы уже не твой папа.

Он будет всё дальше удаляться от тебя, подхваченный невидимой рекой времени, лёгкий, как былинка, а ты будешь всё смотреть и смотреть, боясь потерять его из вида, пока он не скроется – теперь навсегда.

12

В школу № 12 города Мары тебя вместе с другими ребятами из гарнизона возят на автобусе. За рулём – солдат, вместо кондуктора – одна из мамаш по графику, для порядка. Твоей мамы в списке нет: она нездорова и не может залезать в автобус. Тебя это нисколько не смущает: жена начштаба тоже освобождена. Хотя и не болеет.

Пока автобуса нет, мы возимся и показываем приёмчики. Однажды автобус причалит к школе, и выяснится, что твой портфель остался в кустах в гарнизоне. Солдаты будут убирать территорию, найдут его, прочитают фамилию ученика на тетрадках и принесут его домой изумлённой бабушке. Но ты отлично учишься, и тебя прощают.

Если после уроков автобуса ещё нет, мы мчимся в крошечную лавку и покупаем по сто граммов конфет-подушечек. Грузный продавец Ахмед набирает их из большой картонной коробки при помощи белого черпака и заворачивает в кульки из толстой, грязного цвета бумаги, которые он лихо сворачивает из листов, отрываемых от огромного рулона. Здесь же на прилавке висится закутанный марлей от мух здоровый куб кунжутовой халвы – тягучей, как гигантская ириска.

Иногда мы уговариваем дежурную маму тормознуть у мороженщицы и покупаем подтаявшую на марыйской жаре сладкую массу, в которой попадаются солоноватые кусочки сухого льда.

Покончив с мороженым, мы запеваем про геологов, у которых «путь и далёк, и долог» и которым никак «нельзя повернуть назад».

Однажды девчонки затягивают песню со словами, которые ты не понимаешь, а спросить стесняешься: «Если цыган нам скажет, если народ прикажет». Ты долго мучаешься сомнениями. С народом понятно, но что это за могущественный цыган? Пройдёт время, и ты догадаешься и про себя ухмыльнешься: «Если ЦК нам скажет».

Тебя принимают в пионеры, ты не застёгиваешь курточку, чтобы все видели твой алый галстук. «Бабуля, посмотри!» И оторопеешь, когда вместо ожидаемых восторгов бабушка окатит тебя взглядом, в котором жалость, укоризна, усмешка, горечь. И ты запомнишь этот взгляд на всю жизнь.



Иногда случается беда – самум, который в Туркмении называется «афганец». Это ветер, который накрывает гарнизон тоннами мелкого грязно-жёлтого каракумского песка. Спасения от него нет.

Он начинается с неожиданной звенящей тишины и ощущения удушья. Потом появляется небольшое облачко, и вот уже поднятый в воздух песок пустыни мечется по небу и как раненый зверь обрушивается на городок. Конечно, задраивали всё, что можно. Потом выгребали песок отовсюду.

Пыльная буря уходит часа через два.

Ты помнишь, как однажды «афганец» застиг вас на пути из школы в гарнизон. Автобус еле ползёт в пыльном вареве. Не видно ни земли, ни неба. Песок проникает сквозь закрытые окна, скрипит на зубах, попадает детям в глаза и уши.

Потом ты почти вслепую помчишься домой, будешь колотить кулаками в запертую дверь нашего финского домика, бабушка откроет, всплеснёт руками. Чувствуя себя почти героем, ты позволишь ей стащить с тебя одежду, высыпать песок из карманов и башмаков.

13

В среднем раз в два-три года один из лётчиков нашего гарнизона погибал. Тогда женщины плакали, и в городок приезжали никому не знакомые люди – родственники погибшего. Устраивали прощание в клубе.

Однажды на прицепе привезли изувеченный самолёт. В тот раз перегоняли новую технику, летели группой, но в одном самолёте вышло из строя навигационное оборудование, он заблудился, кончилось горючее, и он упал в болото.

Ты приедешь в родной гарнизон через двенадцать лет с женой Ириной, захочешь залезть в знакомый бассейн, но без справки нельзя, и вообще не до тебя: в гарнизоне провода погибшего пилота.

Из Лётной книжки майора Кандаурова:

Раздел IX

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ И КАТАПУЛЬТИРОВАНИЯ

(ознакомительные, тренировочные, вынужденные, катапультирование на тренажёрах)

Ко дню заведения лётной книжки выполнено:

15 (пятнадцать) тренировочных прыжков с парашютом

4 (четыре) тренировочных катапультирования на тренажёре НИТЛ-3

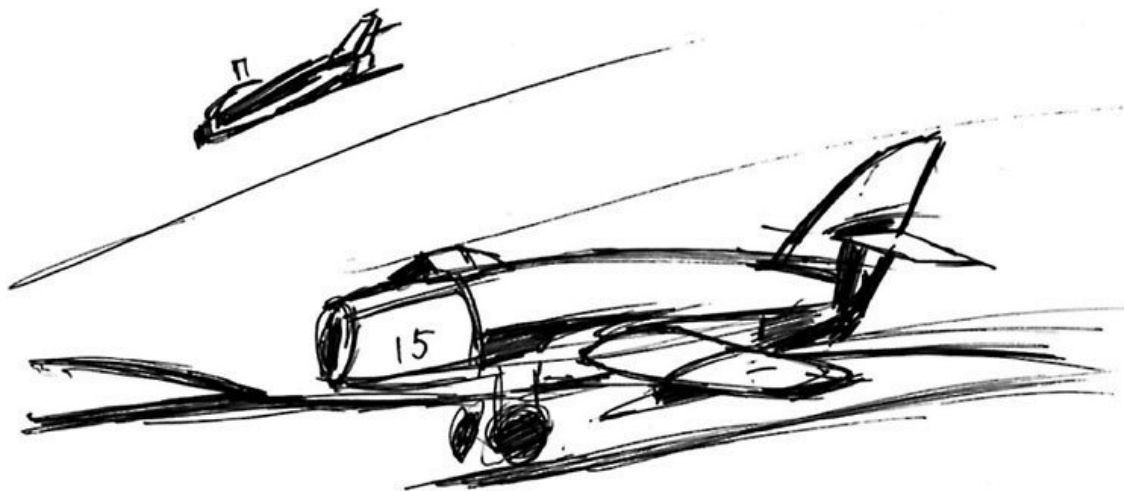
днём и 2 (два) ночью с перегрузкой 8–12 крат.

Начальник штаба в/ч 40329

Подполковник (Храбров)

Тебе будет года четыре, когда к нам в дом одна за другой станут приходить жёны лётчиков, все очень тихие и встревоженные. Они соберутся в гостиной, а тебя бабушка уведёт на кухню. Уходя, ты услышишь: «Ирочка, ну не убивайся ты так, может, ещё найдут».





Городок всегда знает расписание полётов, и все жёны замирают, когда грохот на ВПП и рулѐжке стихает раньше времени: неужели мой?

Потом ты узнаешь, что в тот день полѣты прекратились раньше потому, что из полѣта не вернулся твой папа.

Ты никогда так от него и не добьѣшься внятного рассказа и не узнаешь причины. Это был обычный полѣт по маршруту. Он вдруг обнаруживает, что у него нет топлива, чтобы вернуться на аэродром, почему-то не докладывает о своём местонахождении, не катапультируется, а жѣстко садится на барханы и теряет сознание от удара.

Его ищут, но не могут найти.

Ночью он приходит в себя: голова раскалывается, хочется пить, рация разбита, фонарь заклинило – не выбраться. Как-то вылез и побрѣл, не разбирая пути. Только звѣзды над головой и песок под ногами. О чём он думал? Не расскажет, а ты и пытаться особо не станешь.

Услышал шум работающего двигателя, побрѣл на него и вышел на грунтовую дорогу, увидел прыгающий свет фар, потом весь грузовик, поднял руку. В машине два туркмена, по-русски не говорят, дали воды и жестами объяснили, что взять не могут, едут куда-то, где и телефона-то нет.

И просто уехали.

Уже побледнеет небо над пустыней, когда другой грузовик довезѣт папу до колхоза, откуда позвонят военным. Папу заберѣт вертолѣт. Самолѣт починят, и папа потом расскажет тебе, что он на нём ещё полетал.

За этот беспримерный подвиг его в порядке поощрения отправят в Ашхабад на гарнизонную гауптвахту, где не окажется свободных мест в офицерском отсеке, и папа вернѣтся в семью и эскадрилью, так и не отсидев. На год задержат очередное звание.

Потом тебе расскажут, что самолѣт заправляет техник, а пилот должен проверить перед полѣтом, а папа поверил и не проверил... Возможно ли это? Кто теперь помнит? Да и важно ли это?



На самом юге страны, на самом пороге оттепели, до которой папе, наверное, не было дела, в самой середине самого жестокого столетия произошло совершенно незаметное, мелкое и неважное происшествие: стечение двух-трёх обстоятельств чуть не лишило тебя отца. Только и всего.

Но не так всё просто, не думай, что ты проскочил. Тебя уже взяли на заметку в чёрном гроссбухе небесной канцелярии.

В 1956-м тебе оставили отца, чтобы ровно через полвека, в немыслимом тогда 2006-м подарить внука Ивана и отобрать сына Аркадия.

14

Когда тебе стукнет семь лет, тебя приоденут и повезут в город Мары сдавать экзамены в детскую музыкальную школу. По классу фортепиано.

По дороге мама, смущаясь, шёпотом объяснит тебе, что в музыкалку не берут, если дома нет инструмента, но ты, если спросят, скажи, что есть, а заниматься будешь пока у Додки Микаберидзе, а мы тебе потом купим, а то денег нет, а мы купим, а у тебя не получится, и будет оно стоять.

Сашенька, ты понял? Ты изумишься, но вида не подашь. Да, мама.

В школе ты сдашь экзамены, постучав палочкой и повторив мелодию. Тебя поздравят, а на прощание полюбуются:

«Кстати, мальчик, а пианино у тебя есть?»

«Я пока буду заниматься у Додки Микаберидзе, а потом мне купят».

«Вот когда купят, тогда и приходи».

Всю жизнь ты будешь жалеть, что не умеешь играть на пианино, но второго шанса тебе не дадут.

В то же примерно время тебе объявят, что у тебя скоро появится братик или сестрёнка. По правде говоря, ты не придашь этому сообщению такого большого значения, как упущенной возможности научиться играть на пианино. А зря. Когда однажды маму увезут, а потом привезут обратно, ты окажешься к этому совершенно не подготовлен.

Дело будет в августе, ты примчишься на велике домой, опалённый, изнывающий от жажды, и вдруг услышишь детский крик, доносящийся из дома. Там ты обнаружишь бледную, потухшую маму, глуповато улыбающегося чему-то папу, бабушку, склонившуюся над белым свёртком. Из свёртка будут торчать маленькие ножки, которые у всех, кроме тебя, вызовут взрыв нездорового, необъяснимого умиления.

Зачем они всё это придумали? Разве мы и без этого плохо жили?

Вдруг до тебя дойдёт, что жизнь уже никогда не будет такой же, как до появления твоего брата Юры. Она не станет хуже или лучше – она будет другая. Маленький Юрка не станет тебе докучать. Но ты быстро уяснишь, кто теперь в доме главный, и удалишься «как разжалованная прислуга» в свою жизнь.

Потом выяснится, что тобой родители будут гордиться, а Юрку – любить. А это разные вещи.

Вот и славно. Трам-пам-пам.

15

Взрослые скоро вспомнят забытую в связи с рождением Юрки забаву: совместные походы в кино. Вот все они идут с фонариком по узкой и совершенно тёмной дорожке в летний гарнизонный кинотеатр. Фонарик нужен, чтобы не наступать на лягушек, которые в суицидальном порыве спуют под ногами.

Потом у взрослых начинается кино, а у нас с Юркой – концерт. Он не засыпает без песен. Их есть у меня, но только все они бодрящие, пионерские. Взвейтесь кострами, Щорс под красным знаменем, юный барабанщик – мой репертуар осени 1960-го года.

Юрка взвивается, идёт под знаменем, барабанит от души. Потом утомляется и засыпает.

Между тем, Светка Шишкина, Валерка Константинов и ты организуете тайное общество. Оно не будет ставить своей целью свержение режима, пришедшего к власти путём вероломного переворота, измены и обмана тёмных масс в 1917 году. Оно будет служить исключительно задачам укрепления нашего духа, тренировки выдержанности и силы воли.

Проверка этих качеств будет заключаться в следующем. Половина семей гарнизона проживает в многоквартирных бараках с открытыми верандами. На верандах располагаются керосинки, примусы, а на гвоздях развешаны глубокие гитараобразные оцинкованные ванны для стирки и купания детей. Пол на верандах цементный. Соображаешь?

Испытание воли заключается в том, чтобы после одиннадцати (городок в будни засыпает рано) подползти как можно ближе к веранде с висящей на гвозде ванной и вдарить по ней булыжником. Ванна при этом издаёт щенячий визг и рушится на пол с грохотом, от которого в жилах стынет кровь. На освещённую сортирными лампочками веранду выбегают жильцы в подштанниках и слепо плятятся в комариный мрак невидящими сонными глазами.

Шик заключается в том, чтобы при этом не мчаться прочь, не разбирая дороги, а залечь и переждать грозу, терпеливо дожидаться, когда они снова почти заснут, после чего нанести повторный сокрушительный удар и скрыться во мраке с чистой совестью на зависть подельникам, то есть соратникам.

А ты говоришь колыбельные... взвейтесь... развейтесь...

16

АЛЬЧИК м. арх. игорная говаяжся надкопытная кость, козна, козан, бабка, костыга, шляк, лодыга, баска; лат. *Talus*.
Словарь Даля

Ты уже ходишь в школу, но ещё не знаешь про словарь Даля. Зато ты твёрдо знаешь, что один альчик стоит одну копейку. И ещё ты знаешь, что лучше тебя в альчики не играет в твоём городке никто.

Обе эти мысли приятно щекочут твоё самолюбие. У тебя их – не мыслей, мослов – больше всех. У кого-то сокровище, возможно, и лежит в душе (моё почтение, Александр Александрович!), а у тебя – рассовано по старым женским чулкам и закопано в надёжном месте.

Ключ поручен только тебе.

Пусть ты не любишь и не умеешь драться с близнецами Копыловыми, которые смертельно боятся твоей бабушки, зато ты закрываешь глаза и проезжаешь на велике под шлагбаумом.

А когда ты их открываешь, то вообще «делаешь в мослы» их всех.

Тебе нравится быть чемпионом. Это хорошо. Но ты неопытен и глуп: ты просмотрел тот момент, когда в твоей душе поселяется гадкий червяк – тебе уже нравится, когда завидуют. Ты выигрываешь десять мослов, продаёшь их проигравшему за десять копеек, а через пять минут небрежно возвращаешь их себе.

При всём уважению к Далю, не знаю, во что играл он, а наши мослы были бараньи. Вы с Валеркой Константиновым сами, бывало, выковыривали их из обглоданных шакалами бараньих скелетов в пустыне на окраине нашего городка, пока подкованная в медицине мама не узнала об этом честном промысле и не напугала нас до смерти бараньим трупным ядом, одной микроскопической капли которого хватает, чтобы убить человека.

Тем более пионера.

Мослы – это очень просто: ты рисуешь на земле прямоугольник метр на полметра и в центре проводишь прямую линию. Игроки ставят на эту линию по одному альчику, потом отходят за определённую черту, бросают свои альчики-битки, и тот, у кого биток стал на нужную сторону, первый старается выбить им альчики за пределы прямоугольника. Выбил – он твой. Нет – бьёт следующий.

На обнаруженных в погребениях осетинских селений древних альчиках были нанесены две меты: одна означала «могила», другая – «тягота». Археологи перевели эти меты «да возьмёт он наши тяготы» и решили, что перед ними амулет.

В твоём случае мослы брали на себя твои тяготы только поначалу, потом же стали преимущественно насыпать их на тебя.

Сын штурмана полка получит от своего папы на день рождения бинокль. Чёрный, тускло блестящий, как наган. В футляре с кнопкой. Мальчик полюбит игрушку, укрощающую расстояния. Но ещё больше он полюбит альчики. В отличие от бинокля, не требующего от хозяина особых навыков, мослы требуют хладнокровия, глазомера, силы удара, дерзости и азарта. У мальчика из вышеперечисленного есть только азарт. Он купит у тебя мешок мослов и проиграет их тебе же за два дня.

Изнывая от унижения и желая отыграться, он принесёт тебе бинокль и запросит за него семьсот мослов. Даже у тебя не наберётся так много. Ты пойдёшь в рошу, что у бассейна, и вскроешь тайник, в котором ждут своего часа пара сотен отборных мослов из резерва главного командования. Путём хитроумных комбинаций, обменов и заимствований ты наберёшь эту гору мослов и вывалишь их перед пацанами. Специально назначенные счётчики тщательно пересчитают их в присутствии владельца бинокля. И будет обмен.

Ты оставишь себе гвардию – дюжину испытанных в сражениях костей. Ты будешь играть с ним три недели с перерывами на сон и школу, и через три недели вернёшь себе все семь сотен, до последнего крашеного и облезлого мосла.

Враг будет повержен в честном бою, и победа твоя обратится в миф.

Ещё через пару недель твоего папу вызовет на ковёр штурман полка. Папа узнает, что его сын обманом заполучил чужой бинокль и не отдаёт его не по годам доверчивому хозяину, что

гарнизонные мальчишки проигрывают его сыну деньги, полученные от родителей на завтраки, теряют в весе, и, того гляди, вообще не сегодня-завтра пойдут по неверной дорожке. Всё из-за тебя.

Твой тихий папа вспылит, а дома отзовёт тебя в виноградную беседку: «Саня, бинокль отнеси сегодня, мослы раздай ребятам. На что они тебе – ты и так чемпион. Больше не играй. Не забудь выкопать чулок с мослами под решёткой в душе. А то он там хлюпает. Обещаешь?»

Ты так и сделаешь.

17

Всех туркменских стариков зовут бабаями, а всех туркменских женщин старше двадцати – мамушками.

Что можно сказать про бабая? Бабай бывает одет в пыльный халат, штаны и меховую папаху, которая особенно впечатляет в адскую туркменскую жару. У него редкая седая борода.



На мамушке чистый халат, шаровары, на голове – тонкая, обычно тёмно-красная накидка, один конец которой зажат в зубах, от чего на ткани темнеет пятно от слюны. Монисто.
На всех бабаях и мамушках – резиновые калоши на босу ногу.



Малышей пугают – смотри, не будешь слушаться, бабай унесёт, но это впечатляет разве что уж совсем глупых, ведь всем доподлинно известно, что бабай очень добрые. Тем более мамушки.

Бабай ходят по домам и предлагают купить у них жёлтый и чёрный виноград, зелёные яблоки, нежные персики, урюк, арбузы или дыни. Товар размещается в матерчатой сумке, заки-

нутой на плечо и состоящей из двух больших отделений, одно на груди, другое – за спиной. В таких же сумках перевозят всякую всячину на ослах.

Каждый уважающий себя бабай имеет при себе гири и две битые алюминиевые тарелки на цепочках. Взвешивают они щедро, особенно детям, приговаривая: «Поход».

Мамушки носят молоко в бидонах, и хозяйки рассчитываются с ними раз в месяц.

Вот ты подходишь к двум-трём бабаям, продающим фрукты в тени у магазина. Денег у тебя нет и быть не может. Ты пробуешь виноград у одного, у другого, пока кто-нибудь из них не оторвёт тебе кисть и не протянет, ворча и приговаривая что-то по-своему.

Им разрешают лечиться в полковой поликлинике, где твоя мама работает лаборантом. Жёны приходят только с мужьями: он восседает впереди на осле, больная тащится по жаре следом за ним пешком. Не пускают их только в бассейн – запрещает врач Микаберидзе, Додкин папа. Они живут рядом с городком в колхозе имени Карла Маркса в юртах.

По дороге в школу ты видишь, как старики расстилают коврики прямо на земле и молятся лицом к востоку.

В твоём классе есть туркменские ребята, вы не ссоритесь, но и подружиться не успеваете: они живут в городе, а вас после уроков сразу увозят в гарнизон.

Однажды ломается автобус, и твоя первая учительница Раиса Васильевна просит местных разобрать «военных» ребят по домам и покормить обедом. Ты оказываешься в туркменской семье твоего одноклассника по имени Берды, тебя смущённо зовут к столу, дают суп и лепёшку из тандыра. Ты смотришь на этот перенаселённый бедный дом, и что-то до тебя начинает доходить. Тебе стыдно перед Берды, как будто ты подсмотрел то, что видеть был не должен.

Теперь в классе ты смотришь на него другими глазами. В стране нет вдоволь хлеба, в школе на перемене всем дают по белой булочке, все едят, а Берды быстро кладёт в сумку для маленькой сестры. И он видит, что ты это замечаешь, но не смущается, а по-свойски подмигивает тебе.

Ты ничего не учишь, а учишься отлично, буквально страницами запоминая тексты из учебника в автобусе по пути в школу.

Однажды в классе Раиса Васильевна объявляет, что тебе светит поездка в Артек, потому что у тебя нет ни одной четвёрки. Ты поспешишь похвастаться дома, но в Артек поедет девочка – председатель совета пионерской дружины. С двумя четвёрками.

Ты только пожмёшь плечами: тебе и в Армавире хорошо. Ты знаешь, как тебе там рады.

18

В Армавире тебя ждёт сестра твоего сгинувшего деда баба Женя, её муж дед Лара, их дочь тётя Галя. У деда Лары и остальных странная фамилия – Оверя.



Ты физически, кожей чувствуешь, как они тебя любят, ты купаешься в этой любви.

Ты слышал, что дед Лара был деревенским учителем, когда пришла на Кубань большевицкая свобода, и его, как единственного грамотного в станице, выбрали в Раду сочинять для казаков законы. Потом свободы стало так много, что ему вспомнили Раду, успевшую стать кулацкой, и отправили на десять лет на Соловецкие острова.

Дед Лара отсидел от звонка до звонка. Хотя свободы поубавилось, ты никогда не услышишь его рассказов об островах.

Когда ты с папой и дедом Ларой поедешь к нему на пасеку, он будет грустно усмехаться, разглаживать седые шелковистые усы, макать в свежий мёд солёный огурец, угощать тебя полными мёда золотыми сотами.

Ты увидишь его ясные синие глаза, которые не погасила неволя. Они единственные смеялись, освещая лицо.

Он угадывал погоду и понимал язык пчёл. От него пахло воском и мёдом.

Ещё он знал цену жизни: ему довелось видеть, как легко рвётся эта нить, и рвут её совсем не те, кто подвесил (простите, Михаил Афанасьевич).

Усмехаясь в седые усы, он оберегал нас с папой от правды, которая об ту пору была нам не по росту.

Тебе расскажут, что он заплакал только однажды: когда сын Лёня ушёл воевать, а уже через месяц пришла похоронка. Он не доехал до фронта, эшелон был разбомблен в пути.

Дед Лара не пришёлся ко двору в своей стране. Она не знала, что с ним делать. Она делала всё, чтобы ни его, ни подобных ему не было, а он всё был и был.

Назову в последний раз – Илларион Оверя, станичный учитель русского языка и литературы, соловецкий мученик, чеховский персонаж, пасечник, золотые руки, чистая душа. Жил налегке и легко, как песчинка, канул в невидимых глазах водах всеильной реки.

19

Вот ты сидишь, свесив ноги в армавирскую канаву, и ждёшь с работы тётю Галю. Ты знаешь про неё, что она старая дева, но что вслух этого произносить не надо, что у неё увлекательная работа бухгалтера в райотделе бытового обслуживания населения, что она всю зиму ждёт лета, потому что летом ты приедешь из Туркмении, и для них это радость, ведь у них в доме кроме тебя детей нет. И не будет.



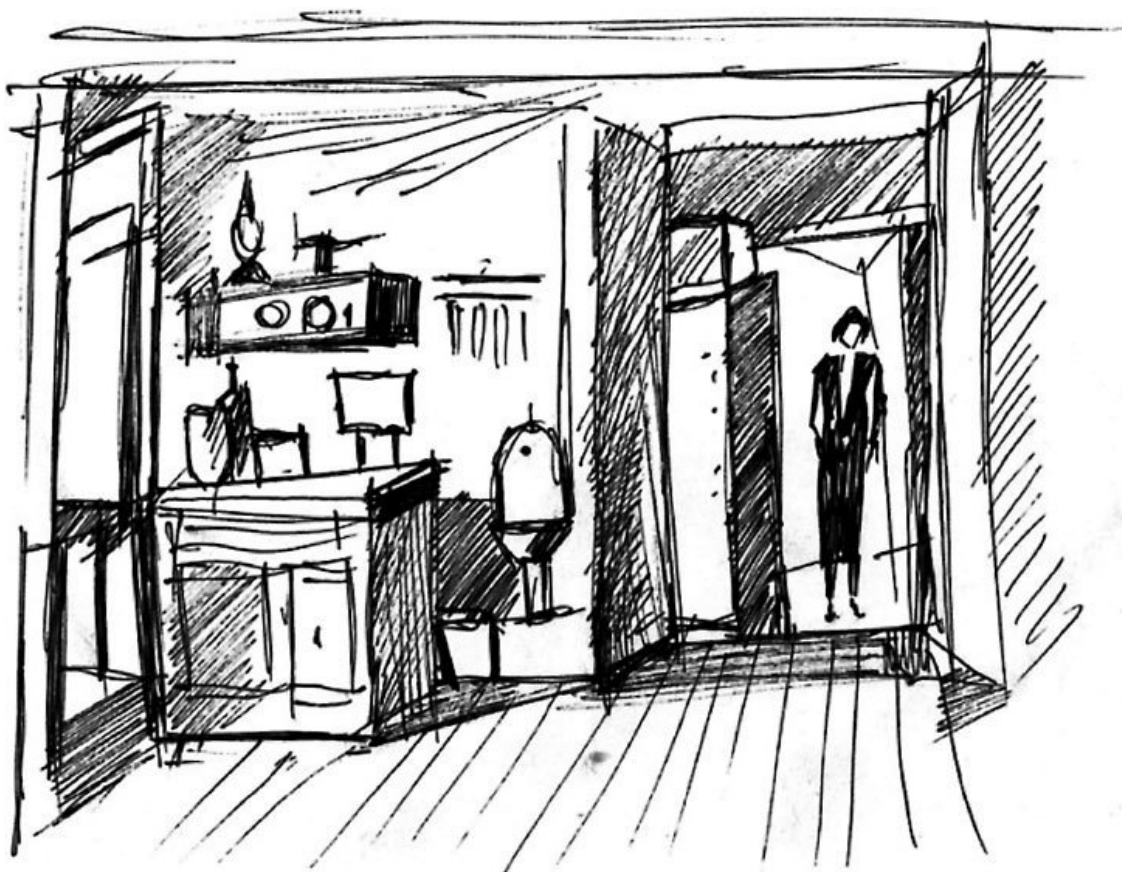
К её приходу ты одеколонизишь грязные руки и шею и причёсываешь паклю волос. Вы видите друг друга издалека и радуетесь. Тётя Галя приносит с работы пачку квитанций, штемпель и чернильную губку. Ты должен терпеливо и аккуратно проштемпелевать эту пачку и только после этого отправляться играть со своими армавирскими приятелями и подружками в штандер.

В доме Оверей всегда полумрак. Маленькие окна на ночь наглухо закрывают ставнями, снабжёнными длинным металлическим штырём с проушиной на конце. Этот штырь уходит в дырку в стене и крепится изнутри, так что открыть ставни снаружи никак не возможно.

В комнате у них стоит «мойдодыр» для умывания и большой сундук. На полках много книг. Полный Пушкин. Ещё Некрасов и Щедрин.

Тётя Галя называет мою бабушку «Надюша», а тётю Женю «мамуня». Когда идёшь по их хате, поскрипывают половицы.

Перед их дверью, выходящей во двор – бочка для сбора дождевой воды, в сенях – банки для варений и солений, рамки для сот, с которых дед Лара специальным скребком счищает воск.



Над столом висит отрывной календарь, оторванные листки не выбрасываются, а скрепляются держалкой в виде железной человеческой лапки с пружиной, потому что на обороте можно прочитать рецепты, афоризмы и биографии замечательных людей.

На стене висит увеличенный фотопортрет Лёни в застиранной белой рубашке. Смущённая полуулыбка, ясные глаза.

Они смирились с бедностью. Устали надеяться и бояться. Они стали скуповаты, для чужих их души сомкнуты, как створки раковины, прячущие жемчужину, а вот для Надюши и Сашеньки – раскрываются.

В комнате икона, у которой всегда горит лампада. Пахнет чистой старостью и травами.

Из этих комнат бабушка поведёт тебя в церковь – крестить. Об этом ты помнишь мало: будет темно и непонятно, старик с бородой не то, чтобы страшен, а скорее уж больно не похож на дедов, которых ты привык видеть на улице. Одет по-сказочному, то ли говорит, то ли поёт. Вот подходит к тебе, бабушка что-то говорит тебе, а ты всё делаешь, как велят. Дают что-то в рот из общей – как ты успел подумать – ложки.

Свечи пылают, пахнет, как у Оверей.

Ну и хорошо, что быстро кончилось.

20

По соседству с Оверями живёт странная семья Портновых: толстая злая старуха с огромной бородавкой на мясистом носу, её ничем не примечательная дочка лет, как ты это теперь понимаешь, тридцати, и её сын Саша, твой ровесник и друг. Про бабку с дочкой говорят, что они баптисты. Ты не знаешь, с чем это едят, но уверен, что ничего хорошего в этом нет. Дело в том, что они никогда не пускают Сашку гулять. То есть буквально никогда.

Сашка сидит на крыльце с бабкой, которая шипит: «Родненький, не смотри ты на них, это же не дети, это бандиты, девки у них грязные, и тюрьма по ним плачет». Поэтому все дети и взрослые зовут Сашку «родненьким». Потешаются над ним.

Потом он пойдёт в школу, но и тогда бабка будет вести его до класса и забирать домой после уроков.

Ты не знаешь и теперь уже никогда не узнаешь почему, но гулять Сашу Родненького пускают только с тобой. Чем ты заслужил это высокое баптистское доверие – неизвестно. И вот живёт себе в Армавире такой мальчик и ждёт лета и твоего приезда из туркменского далёка. Вы вместе ходите на Кубань, и ты со знанием дела учишь ничего не умеющего Сашу копать червей, ловить рыбу и пускать плоские камни по воде.

Вы разговариваете обо всём на свете, и ты понимаешь, что Саша мало знает и стесняется этого. Саша выше и шире тебя, но рыхлый и неловкий. Ты учишь его играть в футбол и кататься на чужом велике, ты рассказываешь ему про альчики, самолёты, пустыню, про книжки, которые ты читал, и про места, где ты побывал.

Саша слушает тебя очень внимательно и задаёт много вопросов. Он знает, что ты уедешь, и гулять он пойдёт нескоро.

Он будет ждать тебя всю осень, зиму и весну, спрашивать бабу Женю, а когда Саша приедет.

Вот так. А вы говорите «Артек».

Вот вы идёте с Сашей в клуб завода «Армалит» смотреть кинокомедию «Полосатый рейс». Свет ещё не видывал более благодарного зрителя, чем Саша Портнов. По пути домой вы вспоминаете смешные реплики, строите рожи, изображаете тигров и дрессировщика. Ты доводишь Сашу до крыльца, где его уже ждёт бабка.

Однажды Саша скажет, что хочет убить её, и в его голосе будет столько спокойной уверенности и усталости, что тебе станет страшновато. Всякий раз, когда ты, уже повзрослевший, будешь приезжать в Армавир, ты первым делом будешь бежать к Шашиному дому, а он – большой, даже грузноватый парень – будет уже стоять на этом ставшем маленьким крылечке, размахивать обеими руками, радоваться не по возрасту, по-детски.

Потом вы с бабушкой продадите её старый домик и перестанете ездить в Армавир. Да и что там теперь делать? Твоя семья уедет из Туркмении в Астрахань, там ты будешь привыкать к большому для тебя городу, будешь знать из книг, что пора влюбляться в девушек, а сам влюбишься в английский и стишки.

Детство уйдёт незаметно.

Ждал ли тебя всё это время Саша Родненький или нет – кто знает. Тихо угасла тётя Женя, меньше стала писать обидчивая и одинокая тётя Галя. И всё-таки кое-что доходило.

Саша вырос, стал груб с бабкой и матерью, метался, учился плохо. Они выбили его из колеи детства, он не знал, куда плыть. Хотели спасти от скверны, а отравили семенами ненависти.

Однажды в Астрахани ты получишь письмо от тётки Гали и узнаешь, что твой друг Саша Портнов повесился. В день его шестнадцатилетия бабка и мать по его требованию нальют ему вина, он выпьет, запрётся в туалете и удавится на брючном ремне.

После похорон соседи забросают их дом камнями, и бабка с матерью исчезнут навсегда. И тебя упоминаю в последний раз, мой летний армавирский друг Саша Родненький. Ещё одна чистая душа отлетела до срока, подхваченная неторопливой, всеильной рекой. Прощай, Саша Портнов, и прости.

21

Туркменская зима не морозная и недолгая, а всё же – зима. Промозглая, грязная, ненарядная, сырая. Если снег, то еле успевает долететь до земли. Если дождь, то надолго.

А почти девять месяцев в году – лето. И какое лето...

Командир полка запрещает женщинам ходить в туфлях на каблуках по асфальтовым дорожкам: каблуки дырявят варёный, почерневший асфальт. С часу до четырёх городок вымирает. Птицы – и те замолкают от жары.

В особо невыносимые ночи папа с мамой ходят в душ, падают в кровать, не вытираясь, на мокрые простыни, которые высыхают через десять минут. Звонит комариный рой. В арыке надрываются жабы. Туркменская ночь не знает милосердия. И так четырнадцать лет.

Иногда посреди этой ночи вдруг раздаётся вой сирены, что на крыше штаба полка. Это по соседству с нашим финским домиком, куда нас переселили из барака с общей верандой и со скрипучими железными солдатскими кроватями, когда папа стал командиром эскадрильи и майором. Это тревога.

Сирена воеет так громко и противно, что мороз пробирает. Папа быстро одевается, хватается всегда готовый оклеенный дерматином «тревожный» чемоданчик и убегает в штаб. Оттуда их везут на аэродром, а вскоре раздаётся рёв двигателей: один за другим самолёты разбегаются и уходят в сиреневое, ещё не проснувшееся туркменское небо.

Иногда у папы бывают ночные полёты, тогда у них в спальне часа в три ночи звонит будильник, и папа уходит в столовую, а оттуда – на аэродром. Как можно в это время завтракать – уму непостижимо. Папа объясняет тебе, что без завтрака летать нельзя. Всю жизнь тебя будет изумлять папина способность есть и спать не тогда, когда хочется, а когда надо.

22

Скользким, бесснежным, влажным зимним вечером ты плетёшься домой со школьного автобуса, тебя ждёт ежевечерняя перевязка. Ты устраиваешься на кровати, в доме уже воняет мазью Вишневского. Ещё чем-то свинцово-серным. Мажь не мажь, всё равно присыхает, а срывать больно. Эта музыка длится уже два месяца. Привет, пиндинка!

Почти все обитатели нашего городка рано или поздно бывают укушены москитом-пиндинкой. Это такой комар. Вообще у нас в Мары-2 их просто тучи, и обращать на них внимание глупо: всё равно ты не знаешь, который из них пиндинка.

Больше других страдают женщины, если их кусают за лицо. Дело в том, что укусы пиндинки рано или поздно превращаются в воронкообразную язву, которую лечит только время

и после которой остаётся отметина в виде шрама. У папы пиндинка на левой руке у локтя, а мамы на правой руке, а у тебя – на левой ноге у щиколотки.

Привет из солнечного Туркменистана!

Зато ты чувствуешь себя раненым в бою. Наконец-то ты имеешь полное право делать то, что хочешь, то есть ныть, скулить и жалеть себя любимого.

При желании ты для разнообразия можешь изобразить усталость, равнодушие и презрение к боли. Что бы ты вообще делал без пиндинки?

И пятьдесят лет спустя ты объясняешь любопытным: ну да, шрам, что делать, времена не выбирают. Да так, в одном отдалённом гарнизоне, в пустыне.

Спасибо, товарищ пиндинка, за наше несчастное детство.

Пока тебя перевязывали, папа и его эскадрилья сбивали шары. Вообще, империалисты не давали нам расслабиться. Проклятые. Сначала они запускали разведывательные шары, потом вообще послали бедолагу Пауэрса, которого нашему гарнизону передали засекавшие его пограничники, а мы – далее по маршруту.

Хотя над нашей границей было ясное синее небо, и тучи не ходили хмуро, она всё равно была, как положено, на замке.

Вот только шары летали и шпионили. А папа и другие лётчики нашего городка их сбивали.

Сбить их было трудно по двум причинам.



Во-первых, чтобы приблизиться на дальность эффективного огня, надо было знать их размер, потому что в небе никак нельзя на глаз определить расстояние до объекта, не зная его истинного размера. И тогда ты стреляешь, но не достаёшь.

Во-вторых, они летали высоко. Надо было разогнаться на динамическом потолке, потом взять ручку на себя и как бы взлететь на горку тысяч до двенадцати, быстро расстрелять проклятый шпионский шар и приготовиться к расплате за удовольствие: неуправляемый на этой высоте самолёт будет камнем падать тысяч до девяти, там снова обретёт опору, станет управляемым и сядет.

Радости мало. Потом вашингтонские ястребы одумались, и шары пропали.

Из Лётной книжки майора Кандаурова:

Согласно приказа в/ч 40329 за № 055 от 28.9.62, прошедшего изучение самолёта МИГ-17 и МИГ-17ф и двигателя ВК-1ф и сдавшего зачёты с общей оценкой «отлично» допустить к переучиванию на с-те МИГ-17ф

Начальник штаба в/ч 40329 подполковник (Прасолов)

Допущен к полётам на разведку днём и ночью в ПМУ и днём в СМУ при установленном минимуме приказом в/ч 55674 № 03 от 7.01.63 г.

Начальник штаба в/ч 40329 подполковник (Прасолов)

Допущен к руководству на полигоне приказом в/ч 55674 № 015 от 24.01.63 г.

Начальник штаба в/ч 40329 подполковник (Прасолов)

Допущен к руководству полётами днём в ПМУ в составе АЭ как прошедший в полном объёме теоретическую подготовку и стажировку руководителя полётов с общей оценкой «хорошо».

Начальник штаба в/ч 40329 подполковник (Прасолов)

23

Однажды мы получили телеграмму из Астрахани: умер папин папа, твой другой дед Николай Никифорович Кандауров. До этого в твоей жизни ещё не было смертей близких родственников, ты не знаешь, как при этом надо себя вести и что пристало чувствовать. Ты не можешь сказать, что это сообщение потрясло тебя до глубины души: ты мало знал тогда и не многим больше знаешь теперь об этом человеке.

По лицам взрослых ты понимаешь, что произошло нечто чрезвычайно важное, но жалко тебе не его, а папу, который всегда весел и шутив, всегда свой, а тут стал отстранённым, чужим, с лицом очень сосредоточенным, виноватым, потерянным.

Вот он собирается в дорогу, мама говорит какие-то слова и складывает в папин «тревожный» дерматиновый чемодан какие-то вещи.

Есть фотография: в гробу лежит незнакомый тебе старик, у гроба баба Арина, папа в длинной шинели без фуражки, с невидящими глазами, его старшие братья, а твои дядя Пётр, Никифор, Виталий, неизвестные тебе люди с землистыми, застывшими лицами.

Они из другого мира, где есть болезни, где пап и мам – таких надёжных, таких любимых, таких до каждой родинки знакомых – кладут в деревянные ящики и закапывают в землю.



Они из мира, куда очень сильно не хочется попадать, но что-то тебе подсказывает, что придётся, и тогда ты прячешься под одеялом, уговариваешь себя, обманываешь себя.

От папы ты знаешь, что в германскую дед воевал смело, был произведён в унтер-офицеры, каким-то образом оказался в Петрограде, бродил от митинга к митингу, слушал и диву давался – вроде и там, и там дело говорят.

Приехал домой в Астрахань убеждённым большевиком, женился на тихой, бессловесной, малограмотной, добрейшей Арине, которая нарожала ему кучу детишек. Выжили четыре брата: Пётр, Никифор, Виталий и младшенький Аркадий, твой папа.

Дед в гражданку прославился подвигами: отбирал по сёлам провиант для засевавших в крепости красных, да, говорят, больно уж лютовал. Пока он изводил контру на корню, баба Ариша всё больше молчала да занималась детишками.

Совсем маленьким, ты побываешь у них в гостях, но эти дни ничем тебе не запомнятся. Ласкова с тобой будет только баба Ариша, да и то по-тихому, когда деда дома нет. Комнаты тёмные, полы скрипучие, дед ужасен: торчат жёсткие усы, сжаты тонкие бесцветные губы, колется седая щетина, ничего не говорят пустые злые глаза, а ночью в стакане воды на его тумбочке розовеет то, страшнее чего и придумать невозможно – вставная челюсть.

Ты безошибочно тогда определишь, что тебе в деде не нравится больше всего: ты ему совсем не интересен и не нужен. Хуже того: ему, как тебе покажется, вообще никто не интересен и не нужен. В этом доме, думаешь ты, никогда не бывает весело. И тепло не бывает. Здесь никто, как папа, не придумывает новые слова, не шутит и не смеётся. Здесь живёт страх. Здесь холодно. Даже в липкую астраханскую жару.

И ты приникаешь к чужой подушке, ждёшь утра и вообще хочешь домой.

Потом ты догадаешься: дед сам боится власти, которую прежде кормил отобранным у других хлебом и которую поил отобранной у других кровью.

Скрипят ночью половицы, скрипит дедова солдатская койка, не спит дед. Кажется ему, что это души, им загубленные, пришли за ним, что надо ответ держать.

А что он им скажет? Про время было такое, про красная армия всех сильнее? Про мало мы вас, гадов, расстреливали? Ведь он ради неё, этой власти, никого не жалел, почему же теперь он сам её боится? Разве она его не любит?

А кого она вообще любит?

Скрипят половицы в комнате жёлтого обшарпанного трёхэтажного дома в астраханском Жилгородке, ворочается дед. Всё, что было в нём человеческого, вытравил в себе, чтоб революции не мешало, разменял на новую веру, а в награду только страх и портрет в местном музее, да и тот после его ухода снимут по просьбе ветеранов войны и труда, что не так сильно лютовали.

Вот оно, значит, как: взяли в оборот молодого, сильного, лихого унтера, внушили ему, что нынче его время пришло, что счастье трудового народа не за горами, что неутомимый не дремлет враг, что не время для жалости, что мы наш, мы новый мир построим.

Он и поверил. И кровь чужую пролил, и зачерствел, и закоснел в этой своей вере.

Партия наш рулевой, без партии не жизнь, партия всегда права, надо разоружиться перед партией, надо ей всё отдать, лес рубят – щепки летят, косточки трещат, слёз нет – нечем уже плакать. Исполняй, или партбилет на стол. Жить потом будем, когда коммуно построим, сейчас не до этого. Кто там шагает правой? Открой «Правду», там всё написано.



А сам много нажил за длинную и трудную жизнь? Скрипучие полы, да паёк блокадный, да бессонницу, да страх.

Что ж, бросайте в деда камень, бросайте те, кто не стал винтиком, кого не завертело кровавое русское колесо, кто не поддался соблазну, не разменял веру и уберётся. Пусть первым бросит камень в моего деда тот, кто прожил русский двадцатый век и не запачкался ни подлым доносом, ни безвинной кровью, ни рабской покорностью, ни трусливым умолчанием, ни липким страхом, ни тщетной надеждой.

Бросайте, он уже не ответит.

Прощай и ты, Николай Никифорович Кандауров, и ты сгинул, и ты исчез навсегда в медленной реке, и ты растаял в свой срок.

24

Ежели кто опытный, тот знает, что тутовник бывает белый и чёрный. Оба сладкие, если не жадничать, а дать ему созреть.

Это если ты человек. А если ты шелкопряд, то тебе всё равно, ты плодами не интересуешься, тебе тутовый лист подавай. Он же лист шелковицы. А потому в солнечном Туркменистане тутовые деревья в сезон так стрижены, как будто их завтра в армию берут.

Однажды в школе, перед летними каникулами всем детям выдадут по здоровой гусенице в банке и объяснят, что её зовут шелкопряд, что он полезный и, если его кормить, он обернётся в кокон, который потом расплетут и соткут шёлк. Для этого его надо убить, пока он не станет бабочкой и не прогрызёт кокон. Кормить надо регулярно и только тузовыми листьями.

Короче, ребята, вы кормите, а мы вам по труду пятёрки поставим.

Тебе с самого начала не понравится, что гусеницу надо кормить исключительно для того, чтобы потом укукошить. Мало того, это надо сделать до того, как она станет бабочкой и захочет летать.



Ты уже знаешь, что шёлк – это такая тряпочка, вообще-то не особо нужная на празднике жизни. Не то, что, например, бабочка.

Ты примешься кормить гусеницу, обречённую стать шёлком, но быстро поймёшь, что прокормить её никак не возможно. Каждый вечер ты будешь набивать банку листьями тутовника только для того, чтобы утром обнаружить её пустой, а в ней, судя по всему, изнывающую от голода гусеницу.

Ты отправишься в очередной поход за листьями шелковицы, но выяснится, что другие ребята уже ободрали все деревья по всей округе, и надо идти далеко, куда ещё не ступала нога счастливого обладателя прожорливого червя.

Превозмогая страх, ты залезешь в рощу возле туркменского аула, куда по неписанному правилу военным детям был путь заказан. Потный и ободранный, ты притащишь полную пазуху листьев, но равнодушный гад сожрёт их за два часа.

Ты пожалуешься бабушке, она уговорит папу, и вы отправитесь на «Запорожце» в сторону Векиль-базара, где вдоль дороги растут тутовые деревья. Тут проезжающий на мотоцикле туркменский милиционер попеняет увлечшемуся сбором листьев папе, что это вообще-то колхозные деревья. И это при удивительно терпимом отношении местной милиции к лётчикам. Папа начнёт лепетать что-то про шелкопряда и как он, едят его мухи, сидит в пустой банке и голодает, лейтенант же махнёт рукой и уедет, за ним уедешь домой и ты с красным как рак папой.

Украденных у колхоза листьев хватит на два дня. Даже добрый папа больше о пропитании шелкопряда слышать не захочет. Твои долгожданные летние каникулы превратятся в кошмар.

Ты выставишь альчики в обмен на тутовые листья, но это вполне себе добросовестное предложение не вызовет спроса. Гусеница начнёт отчаянно ползать по стенке банки, явно пытаясь выбраться и прокормиться на стороне. При этом она гордо отвергнет листья любых других деревьев.

В иной ситуации это подвигло бы тебя на размышления о наличии разума в таком, казалось бы, вздорном существе. Но не тогда. Ты перестанешь есть, размышляя о голодной гусенице.

Зачем людям вообще дался этот шёлк? Что, других тканей нет?

По ночам ты будешь прислушиваться, не пищит ли от голода твой шелкопряд.

Выручит папа. «Саня, давай отвезём её в Байрамали, в тутовую рощу, и там отпустим. Пусть сама кормится, едят её мухи. Скажем в школе, что убежала. А то ведь она у нас сдохнет». Так мы с ним и сделали.

25

Учитель туркменского появится у нас в пятом классе. Это будет огромный худой сутулый туркмен в чёрном – в любую жару – костюме и в чёрном же галстуке. Самое пугающее в облике этого, в общем, доброго человека – это то, что один его глаз обезображен бельмом и, казалось, всегда смотрит в другую сторону. Кроме того, он всегда печален, потому что предмет его не вызывает у детей совершенно никакого интереса.



Вы не понимаете, зачем он вам нужен, а толком объяснить это вам никто не может. Учебник бездарен: трактора – тракторлар. Инженеры – инженерлар. Бир манат – один рубль. Еки манат – два. Уч манат – три. Короче, бир, еки, уч, дорт, баш... Ну, и так далее.

Маленькие советские колонизаторы поневоле, вы наивно считаете, что туркмен в Туркмении должен знать по-русски, а русский в Туркмении по-туркменски знать совсем не обязан. Может быть, за это вас и кусают пиндинки?

Скоро Империя рухнет, Туркменистан станет нормальной восточной деспотией и перейдёт на латиницу.

А тебе твой туркменский послужит только однажды: много лет спустя, на азербайджанском полуостанке между Баку и Ереваном босоногий мальчишка, торгующий дыню, назовёт тебе цену на своём языке: «Беш манат», услышит от длинного тощего дядьки в джинсах встречное предложение «уч манат», выронит дыню прямо тебе в руки, получит вместо пятёрки трояк, да так и останется стоять, как поражённый громом, когда тронется поезд.

26

В самом начале 60-х из небытия объявится дед. Его письма сначала найдут его сестру тётю Женю в Армавире. От неё он узнает, что все живы, что Ирочка вышла за лётчика, что Наденька живёт с ней и внуками Сашенькой и Юрочкой в Средней Азии.

Он напишет письмо Наденьке и вышлет его в Армавир, где тётя Женя переложит письмо из американского конверта в советский и перешлёт в наш азиатский гарнизон.

Наденька, несколько ошарашенная появлением американского мужа и ещё не успевшая забыть самострочные бюстгальтеры на армавирском рынке и духоподъёмные беседы в армавирской ГБ, на первые письма, скрепя сердце, ответит, потом их переписка заглохнет, и главным дедовым корреспондентом почти на двадцать лет станет твоя мама.

Как скоро выяснится, перекладывание писем было примерно так же эффективно для сокрытия этой страшной тайны, как голова страуса в песке, и скорее было просто соблюдением неких приличий: представляю себе американский конверт с американской маркой и указанием номера папиной воинской части в качестве адреса.

ПЕРВЫЕ ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ

(Орфография и пунктуация подлинника сохранены)

Дед – маме

1 октября 1961 года

.....

Очень рад, что ты с Аркашей живёшь в дружбе и редко ссоритесь. Ссориться – вообще последнее дело. Когда-то мы тоже ссорились с мамой, и мне казалось, что меня недостаточно ценят, мной недовольны, и я говорил маме: «ну хорошо, вот меня не будет, поживи без меня!..» И в мыслях был доволен, что ей без меня будет трудно. А вот теперь отдал бы всё, чтобы вернулось то время, чтобы не повторить той страшной ошибки, когда я бросил вас, ушёл от вас.

Чувствую в твоих письмах какую-то недоговорённость, твоё или мамы неудовольствие, плохо скрываемую мамину обиду. Объясните мне, и я выложу вам всё, что имею на своей совести. Писать буду каждую неделю, пока не надоюм вам, и вы не запросите прощенья.

Дед – бабушке

Октябрь 1961 года

Надя моя родная, дорогая!

Спасибо тебе за твоё громадное, на пяти листах, письмо. Это был подвиг с твоей стороны, и это очень дорого и важно для меня. Ты говоришь, что только два раза видела меня во сне, а я очень часто бываю дома с вами, но каждый раз мой визит осложняется неприятностями: появляется Титаренко и спрашивает воен. билет, или на улице встречу Николаева и прячусь от него. Когда иду домой с вокзала, я не иду прямо, а пробираюсь по Лермонтовской и потом по другой стороне, крадучись, иду к вам. Масса всяких вариантов, но непременно, каждый раз меня ищут, преследуют, ловят. И вас всех вижу такими, какими оставил когда-то. И каждый раз просыпаюсь от собственного крика, плача.

.....
Ты убила меня сообщением о недостатке Игоря, что он пристрастился к водке. Что у него компания такая завелась? Или горе какое заливает? Странно это очень и ни на что не похоже. Отчего он мог свихнуться, молодой человек, полный сил и здоровья? Что его угнетает? Конечно и ты, и Аркаша, и Ирочка, все вы должны помочь ему справиться с этим недугом, побороть его. Я утешаю себя тем, что это всё по молодости, по глупости, он должен образумиться, взять себя в руки; если он добрый хороший человек, он не захочет огорчать своих близких, родных... Я очень огорчён этой новостью. Возможно, его профессия тому причиной.

Дед – бабушке

15 октября 1961 года

Моя дорогая, родная Надя!

Спасибо большое за твоё хорошее, ласковое письмо, спасибо за тёплые добрые слова, а самое главное – спасибо большое, сердечное за присланную карточку Лёки. Это самый дорогой, самый драгоценный подарок для меня. Как и полагается, ночь после этого я не спал совсем, а на второй день на работе у меня перед глазами Лёка и постоянно слёзы заволакивают глаза. Боже мой! Как незаслуженно и жестоко я наказан, как тяжело переживать разлуку.

Передо мной сейчас две карточки: Лёка с Ирочкой маленькие и вторая – Лёка большой. Я тщательно присматриваюсь к нему, ищу что-нибудь родное и знакомое и не нахожу. На карточке я вижу красивого, здорового молодого человека с большим открытым лбом, с пушкинскими баками, но ни твоих черт лица, ни своих не улавливаю. Не знаю, какого он роста, полный или худой. И всё-таки так радостно и трогательно сознавать, что ведь это Лёка – сын родной, самый близкий и дорогой человек, это тот Лёка, который когда-то рано утром вставал вместе со мной, одевал меховую шубку и говорил, что он мой помощник, и мы отправлялись вместе с ним чистить после свиной их прелести. Или на ёлке, когда он в длинных штанишках, положив руки в брюки, важно расхаживал вокруг ёлки и рассматривал игрушки. Вот такой он остался у меня в памяти, в моём сердце.

.....
Да, кстати, нарисуй мне и Аркашу, какого он роста, полноты, сравни с кем-нибудь знакомым мне. Мне это надо знать.

.....

И ты права, что я даже представить не могу всех тех ужасов, нужды и нищеты, какие вам пришлось пережить без меня. Спасибо Аркаше, спасибо за его доброе сердце, за его колоссальную помощь тебе, Игорю, своей семье. Может быть ты и права, что за слёзы – горе Бог послал вам Аркашу.

.....
Ты не поймёшь меня, почему я думаю, что мы не увидимся. Я много раз говорил тебе об этом, это не страх, я не боюсь за себя, мне терять нечего, «пролетариату нечего терять, кроме цепей», я знаю, что теперь всё иначе, совсем не то время (твои слова)... Большой радости и я не представляю себе, как увидеть вас всех и быть с вами. Но...я не верю, что так может быть, что это теперь возможно. Надо ещё ждать, может быть, Бог даст, всё образуется.

Дед – маме

29 октября 1961 года

.....
Когда я приехал сюда в сентябре 1950 года, мои знакомые помогли мне устроиться на работу по уборке в громадный богатый еврейский госпиталь на жалование 100 долларов в месяц. Вот там я хлебнул лиха. Буквально за гроши, за жалкую копейку из меня выжимали всё, что было возможно выжать. А после работы, не высыхая целый день, я в буквальном смысле выжимал пот из моих рабочих костюмов. Потом было легче, но платили так же мало, потом заставили платить за питание, а поначалу кормили бесплатно целый день. И проработав там три года, я плюнул на них и устроился на фабрику, где работаю до сих пор. Правда, в 56–57 гг. я бросал фабрику, устроился на работу в конторе как помощник бухгалтера, но проработал только шесть месяцев.

Дед – маме

16 декабря 1961 года

.....
Ты спроси у мамы, как мы с нею прожили свою жизнь, сколько кошмаров, несправедливостей, незаслуженных трудностей пережили мы с нею. С начала моей самостоятельной жизни мне прилепили бубновый туз на спину, и только моя жизнеспособность спасала меня и семью мою от гибели. Обречённый я был, подлежащий сносу, ликвидации, мне не было места под лунной. Так вот, я продолжаю фантазировать: нашлось место мне, где-то определился. А дальше что? Я должен что-то делать, каким-то образом зарабатывать, хотя бы для себя кусок хлеба, должен же я чем-то существовать? Что я могу делать? К чему я ещё гожусь? Ни к чему!

...Нет, ласковая моя, не годится этот вариант никуда. Здесь я уже заработал себе на старость, буду иметь пенсию, и, Бог даст, дотяну свою жизнь до конца. Это так очевидно, что ты должна тоже уяснить себе это, понять, не настаивать, согласиться со мной. И поэтому прошу вас всех поставить точку.

27

Ты узнаешь, что скоро мы переезжаем жить в Астрахань, и очень этому обрадуешься. Папа приедет из госпиталя, и мы начнём собираться. В последний раз в жизни твой папа поднимется в воздух в качестве пилота 30 июля 1964 года – целых пять раз.

Из Лётной книжки майора Кандаурова:

Июль 1964 года

<i>Число</i>	<i>Тип с-та</i>	<i>Кол. пол.</i>	<i>№ упр и сод. задания</i>	<i>налёт в т.ч. в стратосф.</i>
30	<i>Ути МиГ15</i>	<i>1 день</i>	<i>Разведка погоды</i>	<i>40 мин</i>
30	<i>МиГ 17ф</i>	<i>1 ночь</i>	<i>Упр.123 (б) Трен. полёт по маршруту на малой высоте</i>	<i>45 мин</i>
30	<i>МиГ-17ф</i>	<i>1 ночь</i>	<i>Упр. 128 – зачётный полёт для опр. готовн. лётчика к выполн. перехвата из полож. деж. по аэродрому</i>	<i>47 мин</i>
30	<i>Ути МиГ15</i>	<i>2 ночь</i>	<i>Инстр. полёты по упр. №140, 122</i>	<i>1 ч 32 мин</i>

«Ирка, на полк дают три машины «Запорожец». Надо брать. Ну и что, что денег нет? Зато машина будет!»

Твой папа – человек тихий, но это только до того момента, когда им овладевает какая-нибудь неожиданная для всех и для него самого идея.

Уже в Астрахани: «Саня, летуны в Приволжье десантную резиновую лодку списали и мне за пузырь обещали. Как зачем? Рыбачить будем! Ну да, немного дырявая. А ты что хотел? Новая такая знаешь сколько стоит? Подклеим».

Мы с папой выезжаем на Белый Ильмень. Ранняя весна, ещё прохладно. В багажнике – лодка, подклеенная особым суперклеем, который ещё за один пузырь специально сварил у себя в гараже знакомый радиотехник.

У папы приподнятое настроение человека, отправляющегося вокруг света на воздушном шаре. Надуваем лодку и спускаем её на воду. Папа со снастями и со знанием дела отчаливает, я слежу за его действиями как зачарованный, разворачиваюсь и иду к машине.

Слышу какие-то хлюпающие звуки со стороны реки. Оборачиваюсь: папа в кожаной куртке рассекает воду короткими уверенными саженками в сторону берега, а спущенная лодка со снастями, червями и вёслами плывёт вниз по течению. «Что же ты стоишь, как столб, едят тебя мухи, – кричит мне ещё не достигнувший берега папа, – беги на водокачку, лови её палкой, потом заклеим».

Примерно с таким же результатом папа гнал самогон, делал вино из винограда и чачу из виноградных выжимок, придумывал приспособления для ремонта не подлежащих ремонту узлов автомобиля, напоминая одновременно дядюшку Поджера и отца Фёдора.

Поразительно, но при этом, когда наш «двухтрубный гигант» отказывался ехать где-нибудь посреди Калмыкии или Ставрополя, папа, начисто игнорируя отчаянные, бессвязные и обидные мамины крики, начинал меланхолично ходить вдоль дороги, находил какую-нибудь проволочку, любовно её разглаживал, куда-то прикручивал, и мы продолжали свой путь.

28

Опять Астрахань.

«Ирка, у меня есть идея – закачаешься». Это твой папа придумал, что они с мамой поедут к деду в Америку.

«А что? Дочь едет повидать родного отца. У тебя инвалидность, одна ты не можешь, тебе нужен сопровождающий. Я пенсионер, секретов не знаю».

Папина наивность не знала границ. В том числе, границ Империи. Понятно, что времена наступили вполне себе вегетарианские, но всему же есть предел. Деда эта идея привела в полный восторг и сделалась смыслом жизни.

Выяснилось, что нужна характеристика коммунистов аэропорта, где папа служил диспетчером.

Глухой чередой шли застойные семидесятые. В Америку ездили только посвящённые в жрецы и причисленные к лику.

За «Архипелаг» в психушках кололи то, что со временем делает человека овощем. Папа и мама намылились в Нью-Йорк.

Почему не на Луну? Нашли, так сказать, время и место.

Собрали партсобрание коммунистов астраханского аэропорта «Нариманово».

«Тут, товарищи, такое дело. Не знаю, с чего начать... Аркадий Николаевич просит характеристику для поездки в США.»

И тишина. И понеслось.

«Николаич, расскажи, как тебя угораздило заполучить в тестя власовца?»

«Если он там, как ты говоришь, работал на фабрике, что же он на родину не возвращается?»

«А на что же он там живёт? На пенсию? Ну, хватит, Аркадий Николаевич, вы же не ребёнок, вы же прекрасно знаете, что при капитализме пенсий не бывает. Так и скажите: на деньги антисоветских организаций».

Далее по списку.

Папа придёт домой чернее тучи. Но бумагу дадут. С ней твой бедный папа пойдёт в местный ОВИР к ведающему выездом майору Козлову, и тут-то всё станет на свои места.

«Пока я здесь сижу, ни одна душа из Астрахани в Америку по своим делам не ездила и не поедет».

Папа приедет к нам с Ириной в Москву, я запишу его на приём к какому-то небожителю, мы вместе с ним отправимся в самый главный советский ОВИР. Ковры, необыкновенная учтивость и библиотечная, нет, хирургическая тишина.

Там вежливо выслушают и направят жалобу на майора Козлова в Астрахань майору Козлову.

В 1988 году твой почти девяностолетний дед умрёт во Флориде, так и не увидев свою успешную состариться дочь.

29

А пока Туркмения и машина. Папа так проникся преимуществами воздушного охлаждения на своём «двухтрубном гиганте», что принял решение отправиться из Мары в Астрахань на автомобиле вместо того, чтобы, как все другие, отправить его на железнодорожной платформе.

Интересно, что до нас этого никто, кажется, не делал. То есть, автомобильное движение местами наблюдалось, но от Мары до Красноводска никто по своей воле на легковой машине вроде как не ездил. Потом мы должны были загрузиться на паром, и уже за морем продолжить путь по дорогам не менее солнечного Азербайджана.

Дерзость и нелепость замысла вдохнули в папу новые силы: он на время забыл про самолёты и занялся изучением маршрута. А также скрытых от стороннего наблюдателя возможностей своего «двухтрубного гиганта».

Надо сказать, что незадолго до этого к нам в городок из Иркутска подъехали родственники: мамин брат и мой дядя Игорь, в своё время уволенный в Армавире из МВД за весёлый нрав, а ныне демобилизованный из армии, а также его законная жена Люба.

Они привезли с собой сибирскую ёлку и кедровых орехов. Больше им везти было нечего и ехать было некуда.

Дядя Игорь до этого пару раз с тётёй Любой расхотелся и снова сходил, потом она приехала к нему прямо в армию, они стали служить вместе, а уже у нас в Мары родилась Маринка.

Надо ли говорить, что все они единогласно решили последовать с нами в Астрахань. Кажется, это даже не обсуждалось.

Профессиональный водитель, Игорь станет вторым пилотом «гиганта».

30

Потом ты ещё раз побываешь в своём городке в 1976 году, двенадцать лет спустя, с Ириной. Вы сплавите двухгодовалую Ладу родителям в Астрахань и отправитесь в турне Москва – Мары – Ашхабад – Красноводск – Баку – Ереван – Тбилиси – Астрахань – Москва.

Ты ещё раз зайдёшь в свой дом, нынешний хозяин которого вспомнит, что слышал в разговорах папину и твою фамилию, побродишь по городку, кажущемуся теперь маленьким и затрапезным, искупаешься в бассейне. И когда выйдешь из воды по режущей ступни сварной лестнице и увидишь справа туркменский аул, слева – городок, а прямо перед собой – стадион, у тебя возникнет отчётливое ощущение того, что ты никогда не уезжал отсюда, что не было Астрахани, Москвы, всей другой жизни.



Будет невыносимо, до помрачения рассудка жарко, и у Ирины на предплечье эта жара навсегда оставит метку: следы как от прививки. В местной марьинской гостинице не будет воды, света и замков на дверях. С наступлением темноты покидать её будет опасно. Не всякая московская девочка пустилась бы в такой вояж. Ты больше никогда не приедешь сюда, но и никогда не забудешь эти места.

Почему так притягивает к себе пустыня? Может быть потому, что в ней нет ничего лишнего. Нет отвлекающих внимание деталей: один и тот же песок под ногами, открытый днём палящему солнцу, а ночью – густо посоленному звёздами небу.

Только море соразмерно пустыне, только в море, как в пустыне, ты не видишь ничего, кроме неба. Бродский писал, что морская линия горизонта – единственная в живой природе идеально прямая линия. Пустыня тоже, если отъехать от неровностей барханов.

Зыбучие пески – чем тебе не волны: так же изменчивы и так же хранят свои тайны.

Это идеальное место для размышлений о грандиозности божьего замысла (привет, месье Сент-Экс!)

Ты будешь искать следы пустыни своего детства в пустыне Негев в Израиле и в иорданских предгорьях, и не найдёшь. Дело в том, что они реальны, а твоя пустыня – раскрашенный тобою миф, декорации, в которых проходил праздник твоего детства.

Это как мамин или бабушкин суп или каша, которую ни одна жена повторить никогда не сможет, нечего и стараться: выйдет почти то, но не совсем.

31

Картинки твоего детства – те же миражи.

Вот ты от нечего делать сидишь в тени и наблюдаешь, как солдаты пытаются завести большую пыльную зелёную машину с торчащими из неё антеннами. Всякий раз, когда она наконец-то заводится, они издают торжествующий вопль, а когда глохнет – не очень громко повторяют одно и то же незнакомое тебе слово и при этом почему-то озираются.

Это повторяется несколько раз.

За обедом ты спрашиваешь у бабушки, что означает это слово. Бабушка вздрагивает, потом берёт себя в руки и осведомляется, откуда ты его знаешь. Получив ответ, как будто успокаивается и просит немедленно забыть это плохое слово раз и навсегда. Сашенька, раз и навсегда. Это ошибка. До этого случая тебя призывали только запоминать и никогда – забывать. Промаявшись до вечера, ты честно подойдёшь к бабушке и признаешься, что, как ты ни старался, забыть никак не получается.

И так по сей день.

Вот ты научился ставить пластинку в патефон, и с радостью делаешь это по просьбе умиляющихся молодых родителей, играющих в тебя как в куклу. Вот они хотят сменить пластинку, но ты оказываешься однолюбом (Господи, во всём бы так!) и в десятый раз ставишь свою любимую «Наши годы длинные, мы друзья старинные». Под неё ты готов на всё, но родители с каждой новой порцией длинных годов и старинных друзей умиляются всё меньше.

Вот папа приносит домой ваш первый магнитофон, вы дружно изучаете инструкцию и первым делом записываете себя. Выясняется, что по заказу сказать особо нечего, но все хохочут как ненормальные, не узнавая свои голоса.

Потом этот магнитофон споёт тебе про то, как уходят под воду в нейтральной воде и про жёлтую подводную лодку, про синий, синий иней и про идущих в рай святых. Потом он заговорит густым низким голосом твоего деда с маленькой, нездешнего качества кассеты, присланной из несуществующего, придуманного города Нью-Йорка. И все будут наговаривать в микрофон ответ, стесняясь того, что все слышат, не умея писать письмо без бумаги и ручки.

Потом магнитофон выбросят, а кассеты с голосом деда потеряются при переезде после смерти папы. Прощай, «Днипро», ты был настоящим другом.

Вот вы с папой сидите ночью у включённого радиоприёмника «Балтика». Передают ходы шахматной партии с чемпионата мира, мы записывает, папа за белых, Саша – за чёрных. Папа кандидат в мастера, у него грамоты, он приучает сына к древней, хорошей игре. Сонный мужской голос монотонно повторяет буквы и цифры. Мысль о том, что ты на своей доске можешь сделать то же, что делают шахматные небожители, на какое-то время вдохновляет тебя, но вообще-то ты ничего не понимаешь, хочешь спать и развлекаешься тем, что читаешь на освещённой панели приёмника слова «Пекин», «Стокгольм», «Варшава».

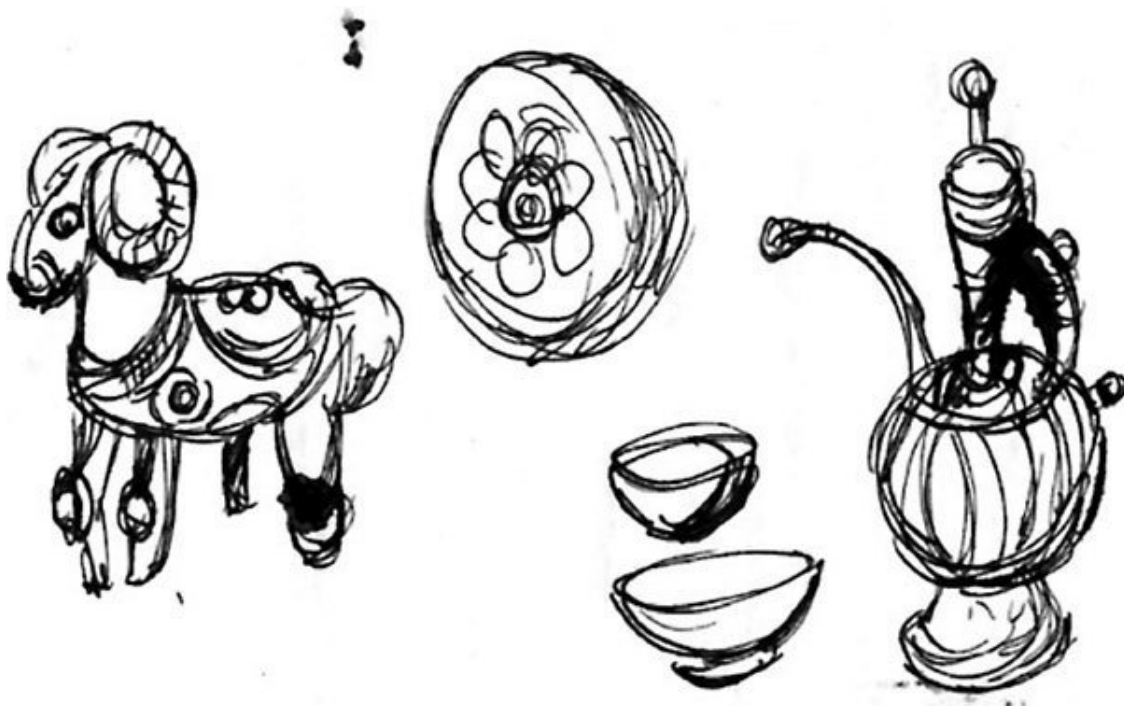
Вот вы с папой идёте на склад за пайком. Равнодушный заспанный старшина ставит на весы крупы, сахар-рафинад, ещё что-то малоинтересное, и рисует крестики в ведомости. Наконец он открывает деревянную коробку, в которой лежат огромные пластины шоколада, кладёт несколько плит на весы, а одну ломает, чтобы выдать точный вес. Ты гордишься: у папы такая работа, что ему положен шоколад. Папа его не любит. Папа любит хлеб, намазанный маслом и посыпанный сахаром. Папин шоколад по праздникам дружно едят все и ещё посылают родне в Астрахань в подарок.

Вот вы с Валеркой едете на великах на водораздел ловить рыбу. Это за взлётно-посадочной полосой, которую надо объехать. Вам сто раз говорили, что ВПП пересекать нельзя. Но ведь полётов нет, и по ней так славно разгоняться, не то, что по песку, в объезд.

На середине ВПП, выложенной металлическими плитами с дырками, вас нагоняет газик, из которого выскакивает дежурный по аэродрому с красной повязкой. На нём нет лица. Пилот сообщил ему по радио, что на ВПП видит велосипедистов, садиться не может. Это ЧП. Его отправляют на второй круг, вас с Валеркой отправляют по домам под конвоем.

Вечером приходит мрачный папа. В общем, лучше не вспоминать.

Вот ты с папой и мамой едешь в город на текинский базар. По-простому, «на текинку». Это что-то вроде ярмарки. Продают прямо с машин, откинув борта. Ослы, верблюды. Продают посуду, ковры, подушки, всякую всячину. Короче, кроме верблюдов и жёлтых торпедоподобных дынь сорта «бахарман» из Чарджо ничего интересного нет. Ерунда всякая.



Хотя... Опытным глазом ты находишь цыганку в ярком халате, у которой в руках целая стая красных петушков-леденцов, и начинаешь канючить. Ты знаешь, почему это нельзя брать в рот, какие страшные неизлечимые недуги таятся в этих алых гребешках, в какой антисанитарной посуде их варили. Но дело твоё небезнадёжно.

Ну, с Богом, поехали: мам, только один, ну что вам жалко? Прошлый раз тоже пугали, а ничего же не было. А как же путешественники в Африке питаются? Меня же надо закалывать. Сейчас всё раскупят, и всё. Здесь не буду, а дома окатим кипятком.

А ещё один Юрке? Если ему нельзя, я могу, того, и второй.

32

Тебе лет пять-шесть, ты упрямисься, и бабушка предлагает тебе либо слушаться, либо покинуть отчий дом. Ты выбираешь свободу. Пусть изгнание, пусть. Они ещё поплачут.

Бабушка снаряжает тебя в дорогу. Ты медленно, в надежде, что бабушка образумится, бредёшь за околицу. Околица через три дома, где протекает арык.

Ты бредёшь к арыку и встречаешь Светку, подружку дней твоих суровых. У тебя котомка, в ней хлеб и вода, всё как положено. Вы со Светкой съедаете хлеб и запиваете водой. Она дивится твоей смелости. Ты тоже ей дивишься, но про себя. Темнеет, Светка уходит домой, ты тупо сидишь у арыка.



Смотри, им всё равно. Гудит комариный рой, надрываются жабы в арыке. Ну и пусть. Но вот, кажется, одумались: приходит бабушка, говорит, что сегодня уж поздно, лучше из дома уходить завтра утром. Это Светка её навела. Ладно, уйду завтра. Насовсем. Пусть плачут.

Но уйдут навсегда они, а плакать по ним суждено тебе. И не только по ним.

В детстве тебе всегда не хватает воздуха, простора, свободы. Для тебя – теми, кто тебя бережёт – протоптаны безопасные тропинки. Тебе положены пределы, за которые ты вырываешься только в мечтах. Ты страдаешь от осознания своей неполноценности, подчинённости, зависимости.

Не бывает детства, из которого не хотелось бы вырваться. Как не бывает детства, в которое не хотелось бы вернуться. И всю жизнь ты не перестаёшь слышать его звуки как медленно, но неумолимо затухающее эхо.

33

Ты не то, чтобы ленив, но ужасно не любишь отрываться от чтения, а в доме есть дела, которые кто-то должен делать: помыть полы, натаскать из уличной колонки воды в душ, который представляет собой сколоченный из фанеры сарай с высящимся над ним обтекаемым серебристым дюралевым топливным баком от истребителя. Сходить в военторговский магазин за сахаром или бутылкой хлопкового масла. Зимой – притащить в дом пару вёдер угля из сарая и вытащить противный таз с золой на улицу.

Мама на работе в поликлинике, папа – на полётах, а ты – если ты не в школе и не гоняешь на велике – ты сидишь дома и читаешь, а бабушка идёт на всяческие хитрости, чтобы оторвать тебя от книги и подключить к домашним делам. Сама она всё время что-нибудь готовит в такой тесной кухоньке, что в неё помещается только сама бабушка да её керосинка. Летом там суший ад. В стены кухоньки папа вбил здоровые гвозди, на них висят сковородки и кастрюли.

Мама устает на работе, да и не с её ногами мыть полы на мансарде, где ты живёшь с бабушкой, на крутой лесенке и в двух комнатах первого этажа: в одной находится папина и мамина спальня, в другой прежде была гостиная, а теперь спит Юрка.

«Сашенька, хватит читать, ослепнешь. Давай полы помоем».

«Ну да, опять я буду один мыть, а ты меня подбадривать».

«Воды в душе на доньшке, отец придёт с полётов, а помыться негде».

«Да вчера же только натаскал, что же вы всё время моетесь, вы же не шахтёры».

Бабушка подъезжает с другой стороны:

«Сашенька, а мама ведь и не ожидает, она думает, ей самой придётся мучиться. Представляешь, как она, бедная, притащится по жаре, увидит чистый дом, обрадуется...».

Ты представляешь. Со вздохом закрываешь книгу и, уже бодро шагая с ведрами в руках мимо сараев и душа, потом мимо дома командира полка Полетучего и открытого летнего кинозала и дальше – в сторону колонки, продолжаешь представлять, как всплеснёт руками мама, ах, какой сюрприз!

Притащить надо сначала четыре ведра, вымыть все полы, и водой из последнего пятого окатить наше цементное крыльцо и положить на него мокрую тряпку – ноги вытирать. Остатки – в шиповник.

«Сашенька, а душ? Сразу натаскал бы вёдер десять, чтобы уж потом читать и не отрываться. Она же не нагреется к папиному приходу, как же он в душ пойдёт? Что ж у него, взрослого сына нет?»

Притащить воду из колонки – полбеда, надо ещё по сварной лестнице с ведром залезть на крышу душа и вылить воду в горловину бака.

Тебе десять лет, ты бабушкины игры знаешь, но играть не отказываешься.

«Ну вот, что бы мы без тебя делали? Сейчас я Юрку покормлю и в коляску уложу, а ты уж посиди с ним в беседке, он заснёт, а ты читай на здоровье. А вот и мама! Ирочка, ты посмотри, какая у нас чистота!»

34

Вы живёте в пяти километрах от города Мары в военном городке, который называется «Мары-2». А в самом Мары на берегу реки Мургаб есть другой городок «Мары-1».

Здесь тоже живут лётчики, техники и папин друг дядя Вася Антонов с женой тётёй Люсей, которую дядя Вася почему-то называет «Люсча – саранча», а она дяде Васе всегда отвечает одинаково: «Ах, Вася, ты помнишь наши встречи...» Дядя Вася все встречи помнит,

потому что при этих её словах его губы всегда расплываются в улыбке, и глядит он на неё влюблёнными глазами.

У них есть сын Борька, с которым ты дружишь всякий раз, когда вы встречаетесь. А когда не встречаетесь – то и не дружишь.

Встречаетесь вы на праздники, когда все взрослые садятся за стол, выпивают и закусывают, потом поют песни про пилотов, которым, прямо скажем, делать нечего, и они именно от нечего делать приземляются за столом, ну и так далее. Потом приходят соседи и приземляются тут же, или родители сваливают к соседям и приземляются для разнообразия у них, и вообще какое-то время никого дома не застанешь и нигде днём с огнём не найдёшь.

На нас с Борькой никто не обращает внимания, и это замечательно: мы можем отправляться на другой берег Мургаба ловить у пивзавода рыбу или идти в кинотеатр «Родина» смотреть детское кино про приключения или мультфильмы про Маугли или аленький цветочек.

Однажды вы приезжаете к Антоновым сразу же после Нового Года, когда идут каникулы и в кино полно фильмов для детей. Вы с Борькой бродите по берегу Мургаба как неприкаянные: в кассе не дают билеты без денег.

Расчёт тут прост: два билета по десять копеек и два мороженных по пятнадцать. Полтинник делов, да где же его взять?

Вы отправляетесь к родителям, но тех и след простыл: они у кого-то гуляют, и дом пуст. Между тем у тебя в кармане есть три-четыре альчика, которые ты всегда таскаешь с собой подобно тому, как шулер никогда не расстаётся с колодой карт. Даже гуляя по двору или читая, ты вертишь их в руках, тренируя пальцы, которым давно знакома каждая ложбинка и щербинка на отполированном мосле.

Слоняясь, вы с Борькой выходите на берег Мургаба и бродите в тщетной надежде найти оброненные кем-нибудь монетки и отправиться всё-таки в кино. Это рядом, там праздник, там мороженое, там из громкоговорителя доносится музыка, а у входа висит расписание детских сеансов, всё в рисованных шарах и еловых ветках. Короче, «Буратино».

Ты привычно бросаешь в песок альчики, подкручивая для точности, и чтобы вставали, как надо. Мимо идут два туркменских парня – верзилы лет по четырнадцать. Завидев твои манипуляции с костями, останавливаются, любопытствуют со знанием дела:

«Пацан, это у тебя свинчатка? Давай сыграем, ты её ставишь, а мы по два обычных».

Тебя вдруг озаряет: вот же они, деньги! Вот же кино! Эти бедолаги – городские, не гарнизонные, они тебя ещё не знают, не ведают, с кем связались, ты же их – ну прямо здесь и сейчас – без штанов оставишь, даром, что мельче на голову.

Спокойно, главное – спокойно. Чертите прямоугольник, начинаете. Первые десять альчиков они проигрывают очень быстро, и пока ничего не подозревая.

Проиграв ещё двадцать, чешут репу:

«Пацан, вот тебе везёт... У нас с собой мослов больше нет, продай три десятка, будем ещё играть».

Да уж, везёт, думаешь ты, как тут не повезти, когда из кино музыка доносится. Про мороженое вообще молчу.

Ты получаешь тридцать копеек и насовсем. Они – тридцать мослов минут на двадцать упорных схваток, по истечении которых опять оказываются на мели.

Борька болеет за меня и вообще намекает, что, мол, хватит играть, пора и того, в кино. Ты тоже не прочь закончить, но парни задеты за живое: «Ты что? А отыграться?»

Они злятся, переругиваются по-русски и по-туркменски, проигрывают ещё и ещё. Они не понимают, как это возможно: не везёт, и всё тут. Шайтан!

Может, конечно, и шайтан, только это вам, как папа говорит, не академия, здесь соображать надо.

Вы с Борькой обещаете выйти на другой день, чтобы они отыгрались, и уходите, звеня выигранной медью.

Туркменские ребята тоскливо провожают вас взглядом, очевидно, борясь с соблазном догнать, всё отобрать и наkostenять, чтобы не мастерился. Скорее всего, так тому бы и быть, если бы не Борька: ты мелкий, а Борька здоровый, как лось, с ним связываться – себе дороже. Да и район военный, не туркменский.

Во дворе вы считаете трофеи: рубль с копейками.

Вы идёте в кино «Родина» – сначала за мороженым, потом в кассу, потом ещё раз за мороженым.

Возвращаетесь домой совершенно счастливые. Тут подгулявшие родители делают серьёзные лица и начинают воспитывать:

«Да мы вас обыскались! Как так в кино? А на что же вы развлекаетесь? Какие мослы? Опять мослы? Саня, ты что, на деньги играл? Опять? Ты же обещал».

«Да что я, они сами пристали, давай, давай. И не на деньги, а на мослы. Потом опять пристали, продай да продай».

«Как же вам за это дело шею не намылили?»

Вы с Борькой ужинаете, потом отправляетесь на улицу, но на берег в тот день больше ни ногой. Что там делать? В кино сходили, мороженое поели. В мослы поиграли.

Давай в ножички!

35

Когда нет полётов, папа выезжает на широченную взлётно-посадочную полосу и учит тебя водить ваш «ЗАЗ». Тебе двенадцать, вы помещаетесь на водительском сиденье вдвоём, папа сзади, а ты спереди, чтобы держал руль и доставал до педалей. Тебе кажется, ещё немного – и вы взлетите.

Тебе нравится ездить на «Запорожце» с папой и мамой по окрестностям твоей восточной родины. Вы наезжаете за покупками в Векиль-базар, мимо туркменского кладбища.

Однажды ты видишь туркменские похороны: вереница мужчин движется то ли быстрым шагом, то ли бежит трусцой. Они держат покойника, завёрнутого в ковёр, перебирают руками, смещаясь вдоль тела вперёд, потом опять подхватывая сзади.

Вы заходите в чайхану, которая представляет собой большой, открытый всем ветрам и застеленный коврами помост, защищённый от солнца навесом, в чайхане сидят пожилые туркмены, негромко переговариваются и неспешно попивают зелёный чай. Женщины и молодые мужчины в чайхану не ходят. Когда входим мы с папой и мамой, разговоры прекращаются ровно на одну секунду, мы со всеми очень вежливо здороваемся, получаем чашки с очень вкусным чаем, но долго не задерживаемся: нам ничего не говорят, но мы чувствуем, что без нас им будет лучше.

Вот мы проезжаем мост через Каракумский канал, едем к Байрамали, минуем древнюю крепость – развалины старого Мерва, разрушенного в незапамятные времена монголами, Мерва, которым гордились султаны, куда шли караваны с товарами из Индии и Персии, куда стекались паломники, где бывал Хайям.

Ты всего этого ещё не знаешь, просто любишь и гордишься: ну и что, пусть у нас ёлки не растут, как в России, зато вон какая крепость.



Ещё дальше на юг – и вот тебе Туркмен-кала, здесь тенистые рощи и лужайки, речка, в которой водятся здоровые сомы, растёт тутовник, бабаи продают дыни и урюк.



Дальше на юг ехать некуда: там Кушка и южная граница твоей большой страны.
За ней – Афганистан.

36

Представьте себе: вы в цирке-шапито, а на арене – гигантских размеров прозрачный шар, сделанный из металлических то ли прутьев типа арматуры, то ли неизвестно из чего. В этот шар входит человек в блестящем чёрном одеянии в каске и с мотоциклом, заводит стреляющий, чадающий, свободный от глушителя и прочей ненужной ерунды двигатель, включает фары и начинает гонять внутри шара.

В цирке гаснет свет, и в этом мраке видна только эта светящаяся тень, изрыгающая огонь и рычащая, как раненый зверь.

Сначала он какое-то время носится на ухающем от напряжения мотоцикле параллельно земле, потом выделяет крутые виражи и, наконец, начинает движение снизу вверх и обратно вниз, назло притяжению Земли, назло собравшимся зевакам, желающим увидеть чудо за полтинник, назло скуке и трусости, назло всем.

Но и это ещё не всё: вот он начинает двигаться в горизонтальной плоскости только в верхней половине своего чудовищного глобуса, а нижнюю половину тем временем отделяют и опускают ниже и ниже, так, что сбавь он обороты, соскользни он вниз – и конец.

То есть, выжить можно, только не думая о смерти, только не глядя вниз, только нажимая на газ.

Он выходит из шара, раскланивается, и тут к нему присоединяется девушка на втором мотоцикле.

Они входят в страшный шар и с грохотом разгоняются так, что мчатся то навстречу друг другу, то наперерез. И опять гаснет свет, и вот уже два огнедышащих зверя носятся по шару, из которого, тебе кажется, нет выхода кроме как на тот свет.

Ты хлопаешь, как ненормальный.

На выходе твоя желающая кем-то показаться одноклассница роняет, что, мол, всё у них рассчитано, ничего опасного там нет, ерунда. Ты сухо сообщаем ей, что, по твоему убеждению, это представление – совсем не ерунда, а вот она сама – точно ерунда, причём не просто, а ерунда, снабжённая пустыми и глупыми глазами.

Так ты полюбишь цирк, в котором летают на трапеции, жонглируют факелами и входят в клетки смелые люди, потому что тигр никогда не перестанет быть тигром, огонь нельзя сделать бутафорским, и притяжение Земли невозможно отменить.

Это место, где тебя не обманывают. Таких мест мало.

37

А ещё в начале 1960-х в наш туркменский гарнизон станут приходить посылки из Америки. Они будут идти из города Нью-Йорка в город Армавир, где их будет получать тётя Галя, как будто они для неё. Там они сделают пересадку в советский посылочный ящик из фанеры с адресом папиной туркменской воинской части № 42936, написанным химическим карандашом, после чего продолжат свой путь по Империи на юг до туркменского города Мары.

Если письма папа с мамой от тебя припрятывали и обсуждали их с бабушкой, когда тебя поблизости не было, то с посылками было сложнее. Сначала они пролепетали, что это тётя Галя из Армавира.

В первой посылке была какая-то крупа, сахар, мука, подсолнечное масло, чай, кофе, конфеты. Дед покидал родину, когда всего этого как раз и не хватало. Теперь он хотел поделиться, помочь. Он боялся прислать что-то уж совсем нелепое.

Тебе было девять, ты промолчал, но призадумался.

С таким же успехом они могли бы выкатить «Форд» и объяснить тебе, что это «Запорожец», только новой модели.

Эти продукты пахли не по-армавирски. Они были с другой планеты. В кофе было больше кофе. В масле больше масла. Сахар был слаще.

Они были упакованы в тонкую весёлую бумагу с яркими надписями на непонятном языке и рисунком, на котором был какой-то дед с мешком, похожий на Деда Мороза, но не Дед Мороз.

Я что – не знаю Деда Мороза?

ПЕРВЫЕ ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ

(Орфография и пунктуация подлинника сохранены)

Дед – всем

22 октября 1961 года

.....
Началась осень у нас. Сейчас идёт дождь, дует сильный ветер, в комнате тепло и уютно: начал топить понемногу. Всегда радуюсь свободным от работы дням, тогда я могу отдыхать, если нет домашней работы, и читать. А в рабочие дни я просто не чувствую, как быстро проходит время. На работе я совсем не имею свободного времени, не считая двух десятиминутных перерывов для отдыха и 45 минут на обед. На фабрике есть столовая, где можно получить горячий суп и что-нибудь жареное, но я в столовую не хожу. Я предпочитаю взять с собой кусочек хлеба с колбасой или сыром и фрукты – яблоко, грушу, банан, виноград.

.....
Развлечений не имею почти никаких, не бываю почти нигде. Дома слушаю музыку по радио или смотрю, если есть что-нибудь интересное, телевизор. Изредка кручу пластинки и слушаю специальную музыку, которая никогда не надоедает. Круг знакомых у меня очень ограниченный. Отдыхаю и получаю удовольствие с книгой. Книги я покупаю за глаза, я выписываю их из другого города. Мне каждый месяц присылают каталог, по нему я выбираю и заказываю.

.....
Во всяком случае, я думаю, что вы всегда будете помнить, что где-то далеко живёт когда-то близкий вам человек, что этот человек всегда с нетерпением ждёт от вас свежего, ласкового слова. Каждое письмо от вас перечитывается много-много раз, и каждое слово ваше волнует и вызывает слёзы радости от того, что вы живы, здоровы, и помните и сохраняете в сердце когда-то близкого родного человека. И слёзы горя, отчаяния и беспредельной тоски от того, что вы так далеко и так мрачно, тяжело, безнадежно всё впереди.

Не буду повторять сейчас того, что вы уже знаете. Берегите в памяти и в сердце этого человека. Верьте, что всеми мыслями, чувствами, желаниями я всегда с вами. Уделите немножко от своего свободного времени что-нибудь мне. И это немножко вселит бодрость в меня, создаст стимул жить дальше и работать и быть хотя бы на миг счастливым, гордиться вами.

Дед – всем

5 ноября 1961 года

Сейчас у нас уже настоящая осень, в течение одной недели листья пожелтели и обильно устилают землю. У нас на улице растут старые, в обхват человека клёны, расположены они вдоль тротуара с одной и другой стороны улицы на расстоянии пяти – десяти метров друг от друга, и когда деревья одеваются листьями, то получается почти совсем закрытый зелёный коридор. В садике тоже грустно, всё желтеет, бурет, вянет, только ёлочка сохраняет свой зелёный красивый наряд. Расцвели хризантемы, цветут розы. А в общем грустно осенью. Не пойму, почему осень так любили поэты, художники.



.....
Трудно мне было тогда, когда я несколько лет работал на открытой платформе. Летом жарко, обливаешься потом, а зайдёшь на склад – там холодно. Вот целый день и мечешься в этих ненормальных двух температурах. А зимой холод адский на платформе, и так тепло, кажется, на складе. Как тепло я ни одевался, сколько ни напяливал на себя всяких одёжек, всё равно было холодно. Мучительно холодно бывало, когда ветер помогал морозу – как ни закрывался, всё не закроешь, и мёрзли уши, мёрз нос, щёки, ноги, руки.
.....

В своих письмах я иногда передаю приветы, иногда спрашиваю о ком-нибудь и никакого впечатления: мои вопросы повисают в воздухе. Вы не подумайте, что я нажимаю на вас, настаиваю на невозможном. Вы можете действовать, поступать как угодно, можете говорить обо всём, о чём вы находите для себя удобным говорить. Вы только дайте мне понять, что здесь нет вашей небрежности, нежелания говорить со мной, а что-то другое. Для меня очень важно, чтобы я своими разговорами не причинил вам каких-либо неприятностей, своими действиями не повредил бы вам. Это самое главное!

Обо мне вы не думайте, мне вы не причините никакого вреда. Говорить со мной вы можете обо всем, о чём только вздумаете. Ваша осторожность мне понятна. Но не понятно и кажется странным чрезмерное умалчивание о таком важном, необходимом для меня. Об Игорёчке я ничего почти не знаю, Аркашу внешне я совершенно не могу представить. Вы продолжайте действовать так и дальше, если же найдёте хотя бы минимальную возможность расширить мой кругозор, пишите, я только благодарен буду вам.

Дед – маме

12 ноября 1961 года

.....

С тобой, родная моя, я разговариваю целый день – в дороге ли я на работу, работаю ли на фабрике, дома ли я сижу-отдыхаю, я всё время говорю с тобой, часто жалуясь тебе на свою судьбу, и тогда чувствую, что слёзы заволакивают глаза. Это самое страшное наказание Бог придумал для меня – разлучил меня с вами. Но за что, за какие такие грехи, не пойму и не вспомню.

Буду стараться ответить на твоё письмо. Тебе страшно представить, как тяжело физически мне пришлось работать. А ведь ты знаешь, Ирочка, всё это в прошлом, а сейчас мне и легче, и привык я уже. Ничего другого я здесь делать не мог, для меня не была неожиданностью эта убийственная работа.

Все, кто приехал сюда, прошли это испытание. У меня здесь есть друзья инженеры: один электрик, получил сталинскую премию за свою работу, а здесь он работал по ремонту автомобилей, проверял и исправлял проводки в авто; целый день работал на холоде, валялся на земле, лазил под машину, в конце дня приходил домой грязный, чёрный, усталый; другой имел работу на подъёмной машине в госпитале, третий работал кочегаром в котельной, большей частью ночью. Чем их работа была лучше моей?

Из всей семьи я один был безголосый и без слуха, это в детстве, а потом и я выправился. Два года, после войны уже, я пел в мужском хоре, и мы разъезжали с концертами по всей Германии и развлекали народ русскими светскими и духовными песнями. Зарабатывали очень плохо, но жили все вместе, в одном доме, питались исключительно картошкой и...пели, каждый день, по несколько часов в день, готовились и выступали.

Дед – маме

10 декабря 1961 года

Твой Сашуня молодец за то, что хорошо учится, и четвёртый класс окончил отличником, хорошо, что делает всё это сам, не нуждается в

подталкивании. Ты напрасно считаешь, что не хорошо, что он много читает. Наоборот, хорошо, что уже сейчас у него появилось увлечение археологией. Надо полагать, что со временем это пройдет, будут у него другие увлечения, но для теперешнего возраста хорошо увлекаться книгами, археологией, а не ерундой всякой, как увлекаются часто здесь.

Не читал я и даже не видел здесь книгу Тура Хейердала.

А Юрочке вообще рано ещё заниматься литературой. А вот что это за штука диафильмы я не знаю, это что-то новое для меня.

.....

Ты пишешь, что вы послали Игорьку посылку, послали ему сигарет любимых. Так он, оказывается, курит? И давно уже? Я тоже когда-то рано начал курить, много раз бросал и опять начинал, и вот теперь бросил окончательно и уже много лет не курю.

.....

Сейчас приближается самый торжественный праздник – Рождество, который здесь превращён в коммерческий праздник. Уже сейчас все улицы иллюминированы, устроены красивые праздничные витрины в окнах магазинов, на площадях установлены громадные ёлки, украшенные игрушками и лампочками, а на главной площади установлена ёлка высотой 80 ярдов или 73 метра, высота 6-ти этажного дома, и на ней тысячи разноцветных шаров и тысячи разноцветных лампочек.

Я тоже хочу, как и раньше, купить ёлочку, поставить её на веранде, там холодно, не отапливается, украсить её игрушками, лампочками и тоже радоваться сезонному отдыху и красивому празднику.

Ты спросишь, зачем я это делаю, ведь я не молодой, а развлечение это детское. Потому что в детстве я никогда не имел такого удовольствия, слышал, читал, но сам никогда не участвовал. Да и это так красиво, когда вечером возвращаешься домой после работы и всё вокруг, впереди, по сторонам сияет яркими огнями иллюминации, словно в сказке. И мне радостно, и все проходящие любуются и радуются.

.....

Ирусенька, родная моя, ты обещала мне, что будешь отвечать на мои вопросы. Хочу я спросить у тебя, получила ли ты от меня раньше ещё в 48 г. мои два письма, какие я посылал на имя Ивановой на Рубена или нет?

.....

Сашуню и Юрочку крепко-крепко обними и поцелуй, поцелуй Аркашу крепко, тебя и маму обнимаю и целую бесконечное число раз.

Итак – посылка из Америки в пустыню.

На одной открытке вообще были изображены синички на снегу у кормушки, и было написано «С Рождеством Христовым!», а другая была репродукцией диковинной картины художника Марка Шагала «Я и деревня».



Подсолнечное масло вытекало из невесомой двухфунтовой фляги тонкой золотистой струёй.

В таких флягах пираты из твоих книжек хранили ром и в трудную минуту прихлёбывали прямо из горлышка. Это их бодрило.

Обёрнутые в серебряную фольгу конфеты нежились в бархатных нишах в круглой металлической коробке, которую – уже и пустую – мог отнести на гарнизонную помойку только глупец. Так она была хороша сама по себе.

Армавир говоришь?

39

И тогда родители усадили тебя за стол и сбивчиво рассказали всё.

При этом они выглядели жалко и виновато. Ты испугался, ты понял, что стал большим. Тебе надо платить им за эту их откровенность, а ты не уверен, можешь ли ты и хочешь ли ты. И какой монетой? И где её взять?

Тайна их взрослости оказалась дутой.

До тебя дошло: они такие же, как ты, только большие. Тебя дурили, а ты верил, как маленький зритель ТЮЗа верит, что мальчик Том и мальчик Гек – это мальчики, а на самом деле они – маленькие тётки. Только пищат, как дети.

Какие ещё тайны они скрывают, о чём шепчутся в своих спальнях? О чём ещё они, когда придёт время, тебе поведают – только потому, что далее скрывать будет невозможно?

Ты понял, что незащищён. Никогда ещё они не оправдывались перед тобой.

Они перебивали друг друга, потому что сами для себя ещё ничего не решили про этого деда, потому что до этого они никогда не могли поговорить об этом во весь голос, не опасаясь тебя.

Они говорили друг другу «тише» и «да что ж ты кричишь на весь городок», они не могли остановиться. Они говорили, что он виноват, но он не виноват. Что он несчастен, и мы все будем тоже несчастны, если эта наша непрошенная тайна откроется.

Дородный краснолицый твой дед стал скелетом в шкафу. Доступ в шкаф был закрыт для всех: одноклассников и однокашников, родственников, барышень, друзей. Допуск в этот шкаф нового человека обсуждался всей семьёй. Это стало твоей тайной на тридцать лет.

Ты открывал душу перед другом, но шкаф был заперт, и тебе было стыдно перед другом, ты знал, что врёшь, недоговариваешь. Ты шептал в то или другое девичье ушко разные слова, но створки шкафа были на замке.

Ты распахнёшь их через десять лет на улице Волочаевской в Москве, в кабинете генерал-полковника Андреева, Начальника Военного Института иностранных языков, когда он завопит стариковским фальцетом про то, чтобы тебя – врага и гада – на шаг к границе не вздумали подпускать.

40

А родители всё говорят и говорят, и только бабушка молчит, а ты вдруг понимаешь, что речь идёт не о книжном или киношном персонаже, а о муже, её единственном и неповторимом муже, который провинился перед ней и твоей мамой, и дядей Игорем, и вообще перед всеми людьми, который потерялся, а теперь нашёлся, и никто, по сути, не знает, что с этим делать. А она о нём думает.

А он – он виноват по всем статьям всех кодексов.

Он виноват в том, что его не шлёпнули, что он выжил.

Это из-за него женщины получали похоронки и теряли карточки на хлеб, из-за него мужчины заводили походно-полевых жён и шли на таран, из-за него сдавались в плен, шли в каратели, бежали из концлагерей, чтобы сгинуть без следа в застенках СМЕРШа.



Это он виноват во всех отступлениях, потерях, штрафбатах, окружениях и заградотрядах.

Это из-за него немцы дошли от своей Германии до подмосковных Снегирей.

Всё из-за него.

Ты представляешь себе его голос, ты хочешь увидеть своего деда и её, его смешливую невесту Наденьку, услышать, как она рассказывает своему Бореньке про то, как она вместе с подружками-гимназистками встречала на армавирском вокзале великого князя, как поезд остановился на несколько минут и он вышел на платформу, а гимназистки ликовали и бросали в воздух чепчики.

Ты хочешь увидеть своего деда – высокого, крепкого, надменного, знающего себе цену, гордого человека. И в то же время – обиженного, униженного этой властью, затаившегося, прячущего свою тайну – отца – священника, от которого он, в отличие от брата Виктора, не отрекался, не брал греха на душу.

Они ждали рождения твоей мамы много лет, они хотели её, а она всё никак не рождалась, потом родилась с вывихом сустава, болела, лежала в постели долгими неделями, шесть или семь раз её оперировали, она осталась хромоножкой, но в девках не засиделась, и это после войны, в стране голодных женщин.

Так все мы балансируем на грани быть или не быть. Не быть никогда, не быть совсем. Какая простая гамма.

А ещё через семь лет после мамы родился мальчик, твой дядя. Они назвали его Игорем.

Как ты хотел бы проникнуть в 1940-й год, в этот их последний год без слёз и горя, в этот дом у крутого спуска к Кубани, за забор и за занавески, услышать, как они обсуждают это имя, как спорят, увидеть, как твоя семилетняя хроменькая мама качает его кроватку.

Они будут звать его Лёка, но ты узнаешь об этом только после смерти Игоря в 1989-м году, читая старые письма деда к маме. Ты узнаешь о его смерти, позвонив в Москву на халюву из советской миссии в Потсдаме, где будешь на советских учениях переводить брифинги для натовских наблюдателей.

Ты прилетишь на Чкаловский аэродром из Германии, ты успеешь к кремации и похоронам, но потом могила с урной потеряется.

Вот ты вместе с шестилетним Арканькой лазишь на карачках по 44-му участку Хованского кладбища в начале 1990-го.

Ты думаешь, что учишь своего сына заботиться о могилах, думаешь, что ему это пригодится, а ему не пригодилось.

И вот, наконец, вы находите железку с полустёртым номером его могилы, под ней – урна, там Лёка, там всё, что осталось от Морица.

Через четыре года там же окажется урна с прахом твоей мамы, а ещё через двенадцать лет недалеко будет похоронен твой сын Аркадий с женой Лизой.

41

И вот тогда, когда уйдёт Аркаша и уйдёт его Лиза, когда это уродливое горе оглушит и ослепит тебя, ты безошибочно определишь, ты поймёшь: это Он отобрал у тебя то, что отбирать нельзя, совсем нельзя, ни при каких обстоятельствах нельзя, и как же Он – такой мудрый – этого не понимает, и когда иссякнут слёзы, когда они совсем кончатся, тогда ты задерёшь голову и, уставившись в такое пустое, такое безнадежно равнодушное небо своими заплаканными, невидящими глазами, прокричишь свои гневные слова, а Он всё будет себе помалкивать, и тогда ты совсем отчаешься и сделаешь ужасную вещь: ты плюнешь в это небо, где Он поселился, в Его небо, которое Он обжил за две тысячи лет, где Он торчит безвылазно целых две тысячи лет, откуда Он поглядывает на дела рук Своих, этот вечный Соглядатай, Всезнайка и Творец нашего горя и слёз, откуда Он смотрит прямо в наши грешные души и определяет наш век, откуда Он не хочет, откуда Он боится спускаться к нам на Землю, потому что здесь ещё есть я и миллионы мне подобных, у которых тоже отобрали то, что отбирать нельзя.



Как странно, что Он делает это.

Тебе будут говорить разные слова про Него, какой Он справедливый да какой Он добрый, как милостив Он да как, любя, пасёт Он суровой рукой грешных агнцев своих, но поздно, тебе уже всё равно, ведь это только слова, а слова – вообще никакие слова – не могут выразить твоё горе, и ты ждёшь, когда Он наберётся храбрости и спустится с неба по золочёной лестнице

и предстанет, наконец-то, перед тобой и тебе подобными, вернее, мы предстанем перед Ним, и тогда мы ничего не будем Ему говорить, совсем ничего, только будем молчать и смотреть Ему в глаза, молчать и смотреть, ты ждёшь, когда Он спустится со всем своим небесным воинством, со всеми небесными силами, со всем своим зефирным спецназом, а ты будешь молчать и смотреть Ему в глаза.

Он будет метать громы и молнии и обещать нам вечные муки, а мы будем просто смотреть Ему в глаза и не будем бояться, потому что Он сделал нас дерзкими, мы уже не можем бояться, мы разучились бояться, ибо самое страшное уже произошло, произошло по Его воле.

Нам не надо от Него ничего. Мы не станем ничего просить у Него.

Мы будем просто смотреть Ему в глаза, пока не ослепнем, потому что есть на свете то, что отбирать у человека нельзя.

Лучше не давать ему рождаться.

42

Выезд назначен на 31 июня 1964 года.

Маршрут: г. Мары Туркменской ССР – г. Астрахань.

Расстояние: 2 500 километров.

Автомобиль: ЗАЗ 965 «б» 1962 года выпуска, 23 л/с.

Командир автопробега и первый пилот:

Аркадий Кандауров, 36 лет, военный лётчик-истребитель первого класса, майор запаса, шофёр-любитель

Второй пилот:

Игорь Ярошевич, 25 лет, ефрейтор запаса, шофёр-профессионал

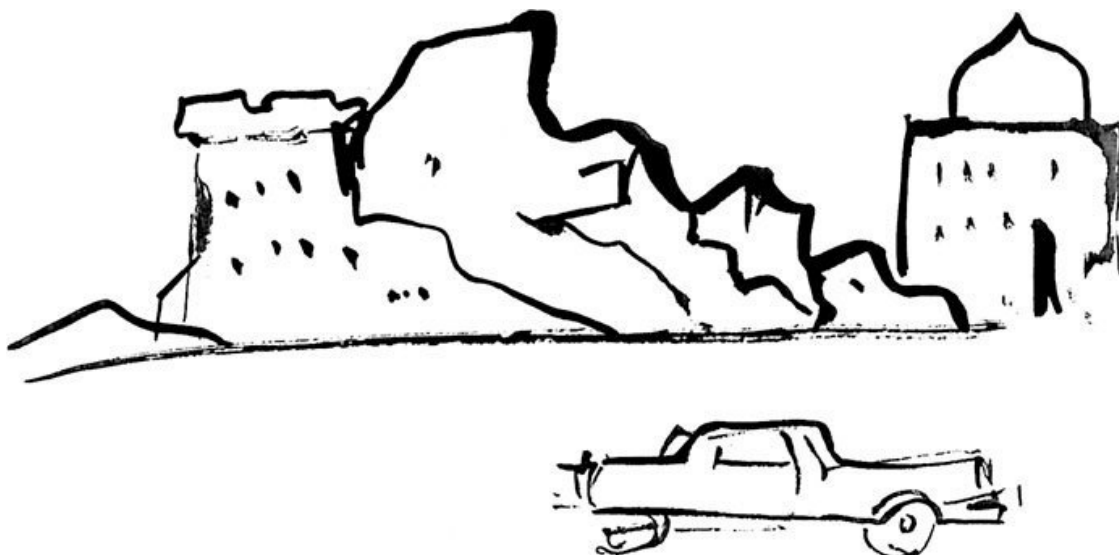
Штурман:

Саша Кандауров, 12 лет, пионер

Выдержки из бортового журнала автопробега (орфография и пунктуация подлинника сохранены)

Записи Командира:

«Дорога хорошая и мы за 1 ч. 30 минут доехали до посёлка Хауз-Хан. Проехав его, остановились, одели туристскую форму и начали делать пыль. 1-й занос прошли сами, на 2-м руками уже гребли песок из под днища и толкали Игорь и Саня, так как я был за рулём. Но впереди был ещё один занос песка на котором мы надёжно сели на «мель»... и стали ждать «буксировщика».



Через 10–15 минут нас догнал ГАЗ-69. На нём следовал шофёр и геолог в трусах в Теджен... Мы достали свой тонкий, капроновый Васи-Антонова трос (фалу), прицепили его к газика и он нас поволок. Протащив нас метров 50 наша фала лопнула как ниточка. Тогда сам шофёр газика достал стальной трос и протащил нас до конца заносов (150–200 м).

.....
В Теджене был завтрак в железнодорожном ресторане, покушав, по хорошей дороге пошли на Ашхабад. У Душака остановил пограннаряд, проверили документы, зарегистрировали всех пассажиров – наш боевой экипаж и открыли шлагбаум.

Едем дальше впереди я, Игорь и Саня на заднем сиденье. Доехали до Каахка. Заехали в столовую, пообедали. Вопреки данному обещанию я, так как не сидел за рулём, рискнул выпить кружку пива, после которой стало плохо в желудке. С этого случая был дан окончательный зарок не употреблять разные фрукты, пиво, молоко, и т. п.

.....
В Ашхабаде было много дел: послать открытку, купить продуктов, пополнить запас воды, бензина, масла, подстричься, так как волосы мешали в пути и были в песке. Покушали уже в 8 вечера в столовой-кафе закусочная (самообслуживание). Подстриглись все, сделав короткие причёски, послали открытку.

Купили продуктов быстро, но в поисках бензина исколесили весь город, т. к. одна заправочная станция была закрыта, а остальные заправляли госмашины. С большим трудом вымолили у шофёра 20 литров и поехали дальше в поисках ночлега т. к. было уже поздно (9 ч.) и наступала ночь»

43

Записи Второго пилота:

«Конечно, по Ашхабаду и дальше рулил я, т. к. места знаю отлично. Выехали за город... И под хорошее настроение прошли ещё около 70 км.

Свернули в сторону от дороги метров 50 и стали на ночлег. Санёк уже спал. Расположились так: я в машине, а отец с сыном на чехле рядом с машиной.

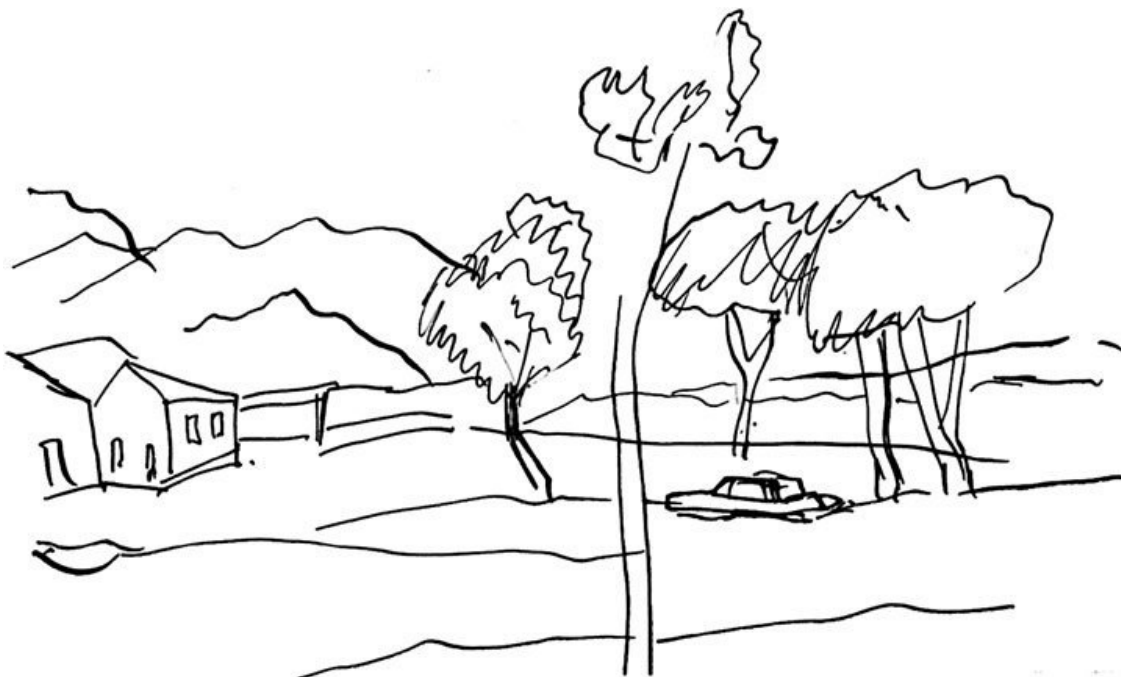
.....
*На рассвете встали, заправили машину и желудки и...
День второй 1.07.64 г.*

.....
Позавтракали в Бами, в стационарном буфете. Пили отличный холодный компот. Быстро добрались до Кызыл-Арвата, заправили канистру, купили очки, расспросили дорогу, и тут началось самое интересное. Грунтовую дорогу после недавнего ремонта разбило до такой степени, что в пыли мы не видели друг друга. Пыль глиняная, рыжая, и по колено. В духоте в самую жару мы не могли открыть дверные стёкла. Машина стала неопределённо-жуткого цвета. На моторе, как и на нас, пять пальцев этой пыли.

Уже, казалось, близко Казанджик, как вдруг впереди большой овраг с подъёмом из него около 30–35 градусов и длиной около 100 метров. Остановились, посоветовались и... благополучно перебрались на другую сторону.

Испытания «гиганта» продолжались. Впереди овраг, в нём вода и нет объезда.

Выхожу из машины, закатываю штаны и начинаю изучать дно и глубину. Я даже не думал, что можно пройти там. В воде скрылся даже номер «гиганта». Вот пишу, а мне советуют написать, что периодически скрывалась крыша «Запорожца», а виднелась одна голова командира автопробега.



В Казанджике голодный экипаж отправился в столовую. Пока мы умывались столовая начала закрываться, увидев наши усталые рожки, официантки съжалились и решили нас накормить.

Подъезжая к Джебелу стояла автобусная остановка, на которой стояли два молодых туркмена и один офицер. Мы спросили у них дорогу на Красноводск. На Красноводск шли две дороги: одна шла за горами – по ней до Красноводска было 200 км. Вторая дорога шла вдоль железной дороги, но дорога эта была такая – 20 км песка, а остальные 100 км шла грунтовая, но вся разбитая дорога. Подумав мы решили ехать по второй, так как она почти вдвое короче первой.

Когда мы выехали из Джебела, солнце уже давно село и было уже темно. Мы уже хотели ночевать на открытом месте, как вдруг увидели вдалеке домики разъезда и поехали к ним.

В домике жили три семьи казахов. Мы попили у них чаю, около полотна нашли несколько досок, положили их на землю, на них положили брезент потом одеяло, вторым одеялом укрылись и заснули. Между тем начал подниматься сильный ветер с пылью и песком, но мы спали крепко и ничего не слышали. За ночь ветер крепчал, и нас постепенно заносило песком. Утром, когда мы проснулись, мы увидели страшное зрелище: одеяла, подушка и мы сами были покрыты сантиметровым слоем пыли. Глаза были забиты песком и открывались как двери старого сарая – со скрипом. Рот был забит песком, песок хрустел на зубах. Уши были полностью забиты песком. Волосы превратились в мочало. Наша обувь, которая лежала на песке, была полностью засыпана песком. Мы вытряхнули пыль из нашей постели и умылись сами.

В 5 ч. утра мы отъехали от разъезда. Потом всю дорогу мы шутили называя разъезд кемпингом, а песок покрывавший нас – сервисом.

В Красноводск мы прибыли в час дня. Узнав, что паром Красноводск-Баку под названием «Советский Азербайджан» приходит в Красноводск в 7 ч. вечера, а уходит в 10 ч. вечера, мы решили привести себя в порядок: помыться, переодеться.

В Красноводске Командир со Вторым пилотом решили искупаться в море. На берегу оказался какой-то чёрный мазут. После купанья в море кожу у них стянуло от солёной морской воды, ступни ног были все в чёрном мазуте, который смывать надо было бензином. Потом водой с водопровода помылся я, а они обмылись от солёной морской воды.

Приведя себя в порядок мы отправились покупать билеты на паром и оформлять машину на перевозку на пароме. Мы купили билеты: два откидывающихся кресла и один палубный. Потом сели в сквер, закупили газет и журналов и стали читать. Прочитав все газеты и журналы экипаж пошёл обедать в здание аэропорта. Плотно поели и тут пришло время ехать в порт, куда приставал паром.

На пароме нам сообщили, что это самый лучший паром в Европе. Он вмещает 30 вагонов в трюме и 300 пассажиров. Сначала начали погрузиться вагоны, которые толкал паровоз. Потом погрузилась почти с багажом, а за ними уже частные автомобили. Кроме нас ещё погрузилась одна «Победа».

Закрепив машину колодками и поставив её на все тормоза и на скорость мы поднялись на палубу. Потом стали разыскивать наши кресла. Узнали, что на пароме есть ресторан, душ, умывальня и туалет. Когда отчаливали,

была уже ночь. В каюту мы не пошли, а остались стоять на палубе и любоваться паромом. Когда пристань скрылась из виду и смотреть на воду надоело, мы пошли в ресторан ужинать.

Поев ужинав пошли спать: штурман на палубе под одеялом, а я с командиром в общей каюте на откидывающихся креслах, и все сразу уснули. Мы спали хорошо кроме штурмана: он за пол ночи перемерз, а на вторую половину ночи перебрался в трюм, в машину и там заснул.

В Бакинскую пристань паром заталкивал маленький буксир. В это время мы спустились в трюм, сели в машину и стали ждать когда паром причалит. Зад у него был уже открыт. Причальный мост у него стоял выше пола в трюме, но лебёдки опустили его до нужного уровня. С парома бросили швартовые и на пристани закрепили паром. Рельсы сошлись, можно было выезжать.»

Глава 4

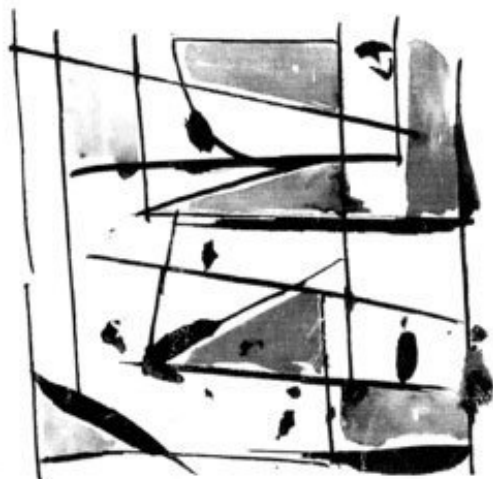
Всё, что я мог потерять

Всё, что я мог потерять, утрачено начисто. Но и достиг я начерно всё, чего было достичь назначено. Даже кукушки в ночи звучание трогает мало...

Иосиф Бродский

1

Не только *можно*, мой юный друг, – *нужно* было выезжать из парома, из туркменско-армавирского детства, из жизни в маленьком военном городке. Впереди лежала дорога до Астрахани, твоего первого большого города, в котором ты удержишься на пять лет, чтобы окончить школу, повзрослеть и в семнадцать лет уехать из дома навсегда.



В Астрахани тебя удивят многие вещи, но более всего трамваи, река Волга и наличие большого количества родственников. Обо всём этом ты знал по рассказам, но увиденное, тем не менее, произведёт сильное впечатление.

Запылённые трамваи будут звенеть и грохотать на стыках, Волга будет плыть издалека, долго. К родственникам придётся привыкать.

Ты познакомишься ещё раз с бабой Ариной и по первому разу с дядями Петром с тётей Раисой, Никифором с тётей Ниной, Виталием с тётей Тамарой, а также с двумя кузинами по имени Светлана и Валечка и с кузеном по имени Илья.

Последний сразу поведает тебе, что в астраханском канале Кутуме водятся крокодилы, что тебя несколько смутит и сильно затруднит дальнейшее общение. Светлана окажется большой, взрослой и совсем не интересующейся сопливым кузеном, прибывшим вечерним караваном из Туркмении.

А вот с Валечкой ты подружишься на долгие годы.

Ты будешь встречаться с новой роднёй преимущественно на многочисленных днях рождения и других застольях.

Все жёны всех четверых братьев – крупные, шумные, жизнелюбивые дамы чрезвычайно весомых достоинств, любящие поесть, попить и повеселиться на всю катушку. Во время танцев тумбочка с телевизором «Рубин» отлетает в угол от одного лишь прикосновения крутого бедра, словно пёрышко. Лихая владелица бедра этого опасного столкновения даже не замечает.

Исполнение песен советских композиторов по лирическому накалу и, главное, децибелам, легко посрамило бы любой Краснознамённый ансамбль.

Твоя мама очень хочет, но не очень может петь, зато она знает все слова всех песен; пока исполнители делают мощный вдох, она скороговоркой озвучивает следующую строчку, а остальные радостно подхватывают во весь голос.

Забившаяся в угол бабушка качает головой и шепчет, судя по губам, что-то вроде «господи помилуй». Мама ядовито намекает на то, что бабушкина комната пустует, и там намного тише; бабушка делает лицо оскорблённой добродетели и продолжает укоризненно и однообразно, как китайский болванчик, качать головой. Но не уходит.

Заметив не сдающую позицию качающуюся бабушку, гости дружно желают немедленно выпить за её здоровье, она не возражает, но скорбного качания головой не прекращает. Никто этого не замечает, за исключением твоей мамы, которая в мимолётной вспышке гнева слегка выдвигает нижнюю челюсть, но тут же берёт себя в руки и задвигает её на место, тем более, что гости, наскоро закусив, уже грянули «летят утки, летят утки и два гуся, ой, кого люблю», не зная других слов, кроме этого орнитологического наблюдения и следующего за ним риторического вопроса, и им надо подсказывать.

Расходятся за полночь, обессилив. И так до следующего раза.

Ты видишь их только на этих шумных застольях. Ты не представляешь их работающими, как не представляешь любимого артиста чистящим зубы или моющим посуду.

2

В 1964-м году, когда вы переедете в Астрахань, – твоему папе стукнет тридцать пять, а выглядеть он будет, как ты сейчас понимаешь, на тридцать. Этот подтянутый, улыбчивый, загорелый папа явится в пенсионный отдел и вызовет изумлённое любопытство у старушек в очереди: а ему-то за что?

Едва успев дать ремонт потрёпанному «Двухтрубному гиганту» в компании с братом, а твоим дядей Виталием, папа улетит обратно в Туркмению за бабушкой, мамой с пятилетним Юркой и Любой с новорожденной Маринкой. Всех он должен привезти, разместить и накормить.

Пока его нет, дядя Никифор берёт тебя с собой на рыбалку в село Зеленгу. Белая, подрагивающая от скрытой мощи «Ракета» быстро разгоняется, встаёт на подводные крылья и несётся, окутанная брызгами, в которых различается радуга.

В Зеленге дядька знакомит тебя с роднёй. Ты видишь, что гостям здесь рады, что хозяйева – немногословные, основательные люди. Это рыбаки, живущие непонятной для тебя жизнью и говорящие на почти непонятном для тебя языке, и это притом, что ты слушаешь их разговор внимательно, опасаясь ответить на вопрос невпопад.

Вас везут то ли на «яму», то ли на «перекат», где, как ты понимаешь, рыба и больше, и слаще. Тебе попадается упирающийся, режущий руку леской судак. Ты вытаскиваешь упрямую рыбу с острым спинным плавником и безумными глазами. Она заглотила живца так, что снять её с крючка может только дядя Никифор.

Позже обнаружится: в астраханских сёлах у нас столько родни, что разобраться в этих переплетениях решительно невозможно. Только мама в состоянии распутать эти узлы.

«Ну что ты, Аркаша. Помнишь, приезжал твой троюродный брат из Разина? Он ещё через слово «ужо» говорил? Вспомнил? Хороший мужик, спокойный. Так вот на прошлой неделе был дядька его сводной сестры».

Папа кивает, сосредоточенно уставившись в потолок, как будто именно там прорисованы сложные переплетения его родственных связей, он честно старается, но последнее замечание про сводную сестру лишает его всякой надежды, и он сдаётся.

Окончательно же он разуверится в своей способности разобраться с собственной роднёй, когда выяснится, что живущий в нашем же подъезде железнодорожный начальник Толя Чернышев есть не кто иной, как папин то ли троюродный брат, то ли двоюродный племянник.

Потом ты часто будешь наблюдать такую картину: в дверь звонят, раздаются громкие приветствия, происходят похлопывания по плечу или поцелуи, за ними следует тёплый вечер с выпивкой и закуской в виде волжских даров.

Далеко за полночь незнакомец или незнакомка шумно прощается, обещает заходить и зовёт в гости. Приглашение неизменно и с благодарностью принимается.

Когда захлопывается дверь, папа беззаботно спрашивает у мамы: «Ирка, а кто это был?» Мама терпеливо объясняет, и так до следующего визита.

3

Всё тебе до поры, до времени будет интересно в этом городе.

Семнадцатая пристань на Волге, куда причаливают белые, как невесты, теплоходы и где вода бьёт по зелёным от водорослей сваям. С неё ныряют в Волгу бесстрашные, чёрные от солнца астраханские мальчишки. Тебе это слабо.

Лебединое озеро с настоящими лебедями, заселённое здоровыми сазанами, которым бросают крошки, а они толкаются в воде и хрюкают. Над озером нависает кафе с мороженым и лимонадом.

Это прохладный вечерний детский рай.

В какой-то праздник над Волгой выбрасывают парашютистов. Тебя десантом не удивить, но ведь эти садятся на воду!

Осенью со стороны садка, торгующего прямо на воде живой рыбой, можно видеть людей, тянущих домой огромных пузатых сазанов. Хвост (по-астрахански, «махалка») при этом волочится по пыльному тротуару. Их жарят, а икру засаливают на закуску.

Из города можно позвонить домой к дяде Пете по телефону, что поражает: ни у тебя, ни у кого из твоих знакомых в доме никогда не было телефона, и теперь ты звонишь по поводу и без повода.

Под белыми сводами крытого рынка Большие Исады, известного всем теплоходным туристам от Москвы до самых до окраин, бойко торгуют всем, что растёт, плавает, хрюкает, мычит и молчит в дельте.

В цирке классические борцы от натуги производят звуки.

На Стрелке под залог паспорта дают напрокат лодки, на которых можно кататься по двум астраханским каналам Кутуму и Канаве, и дальше, по Волге до пляжа, что на острове перед Семнадцатой пристанью.

Можно гулять по Кремлю и подниматься по узкой каменной лесенке на смотровую площадку под колокольной или листать книжки на развалах, прячущихся от солнца в тени Братского Сада.

Если в кармане отыщется полтинник, не говоря уже рубль, ты можешь посетить кондитерскую с пережившим лихолетье названием «Шарлау» или знаменитый на всю страну кинотеатр «Октябрь», в фойе которого упираются верхушками в стеклянный потолок огромные столетние финиковые пальмы, араукарии и прочие тропические чудеса.

В парке «Аркадия» высится деревянный резной терем-театр, почти всегда упоминаемый в связи со знаменитым Шаляпиным.

Тётки-газировщицы, суетливые осы на каплях сиропа. «Мне с двойным, пожалуйста». И ты получаешь с двойным сиропом, без обмана.

А нет – так на копейку наливают стакан чистой и вкусной ледяной газированной воды.

4

Ты уже понимаешь, что лётчиком хорошо быть в самолёте, на аэродроме или в городке, где все, кому положено, летают. И плохо в городе, где все ездят на трамваях, едят арбузы, ловят рыбу, чинят лодки и корабли, занимаются чем угодно, только не полётами. Лётчик умеет летать, и этого ему хватает с избытком. А больше он ничего не умеет. И не хочет. Он живёт в небе. В городе ему нечего делать. Он нелеп как альбатрос, ковыляющий по палубе под хохот глумящихся матросов (моё почтение, не хотел Вас обидеть, месье Шарль Пьер!)

Папу устраивают на работу завхозом в какую-то Каспрыбу. У него в подчинении три уборщицы и два дворника. Каждый из них стучит ему на остальных. Он должен их мирить, а также закупать писчую бумагу, чернила, прочие канцтовары. Иногда ты будешь сопровождать его. Вы будете ездить по Астрахани на двухтрубном гиганте за промокашками. Это как на линкоре ходить в соседнее село за капустой. Униженный гигант станет ломаться чаще, чем в туркменском аду.

Подобно двухтрубному другу, папа продержится месяца три.

Всегда бодрый и смешливый, он станет раздражаться по пустякам, о чём-то задумываться, что-то бормотать, пока, наконец, не придёт однажды домой с пачкой копировальной бумаги, не швырнёт означенную пачку на стол и не выскажется в том смысле, что, мол, пошли бы вы все со своими каспрыбами, швабрами и промокашками куда подальше, а я на эту службу больше ни ногой.

И уйдёт в аэропорт «Приволжье», где привычно режут на старте гражданские и военные самолёты, где пролётом случаются марыйские однополчане, где пилоты в куртках и технари в комбезах неспешно ведут свои непонятные для шпаков военно-воздушные разговоры.

Они говорят, а сами изображают манёвры ведущего и ведомого своими ладонями, указывая на крен, тангаж и рысканье. Ладони ложатся на правое или левое крыло, идут в набор. Здесь они привычно провожают глазами каждую посадку, каждый взлёт. *Травят* анекдоты, обсуждают назначения, повышения, ЧП. Здесь они живут.

«Представляешь, дальний привод прохожу – всё нормально, а на ближнем ничего не слышу. Потом говорят: меня слышали, а я нет. Сел, конечно. А чёрт его знает – почему. Технари сказали – контакт».

«А у меня в эскадрилье лётчик был, так у него Юра Гагарин чемодан взаймы попросил, когда его в отряд взяли. До сих пор отдаёт»...

А ты говоришь – Каспрыба. Вот здесь, на аэродроме настоящая жизнь, а там – кофирка. Или промокашка.

Военный лётчик первого класса, папа поедет учиться в Казань, потом в Москву и со временем станет авиадиспетчером первого класса.

5

Зато у Каспрыбы своя рука владыка: на какой-то праздник целый речной трамвайчик отдан на откуп сотрудникам и отправляется в дельту на рыбалку. И папа берёт тебя с собой. От Астрахани до Каспия километров сто. Вы доберётесь до места, когда уже стемнеет. Наверное,

это и были так называемые раскаты – поросшие камышом плавни, которые уже почти не Волга, но ещё не совсем Каспий.

Трамвайчик станет на якорь. К твоему изумлению, никто, кроме тебя, не бросится разматывать удочки, чтобы без промедления приступить к рыбалке. Совсем даже наоборот: все каспрыбаки, как по команде, соберутся в салоне и начнут выпивать. И папа тоже.

Ты будешь смотреть на лунную дорожку, на шелестящие камыши, слушать, как незлая волна хлопает по бывалому, облезлому борту трамвайчика.

Утром и того хуже – вместо рыбалки вы причалите к берегу, и там ты увидишь небритых весёлых мужиков. Это рыбаки. Они очень рады, что к ним на праздник пожаловали гости. Вы спустите рыбакам ящик с бутылками, а они начнут бросать на борт трамвайчика рыбу до тех пор, пока вы не закричите, что хватит.

А вечером вы причалите к берегу, и ты окажешься на тонё. Никогда ещё в твоей жизни не было так много ночи и так много воды.

Тоня – это такой дебаркадер, куда причаливают баркасы. Они тянут прорези с красной рыбой. Ночь, сноп света из прожектора. Из прорезей на тоню выбрасывают огромных осетров. Их ждёт здоровый мужик в мокром, блестящем резиновом комбезе с большой деревянной колотушкой в руках. Он бьёт осетра по лбу этой колотушкой, чтобы тот уснул, и его можно было бы взять.

Ты видишь, как гигантская белуга, притворно замершая на дощатом настиле тони вдруг бьёт этого мужика хвостом по ногам, тот падает, как подкошенный, весело вскакивает и бьёт её этой колотушкой по лбу ещё раз, и ещё, и та затихает.

Вокруг над огромной и могучей Волгой звенит комариная ночь, а тут слепящие огни, ловкие мужики в мокрой резине и огромные диковинные древние рыбыны, их живая холодная кровь.

Обычная жизнь людей дельты и привычная рыба смерть.

Утром вы пойдёте обратно в Астрахань, повариха приготовит уху из осетра, а ты уляжешься на самой верхотуре трамвайчика загорать. Справа и слева поплывут усеянные лодками берега, на чёрных сваях будут начертаны непонятные слова «Не чалиться. Якорь не бросать», мимо будут сновать «казанки» и пролетать «Ракеты», проходить баржи со щёбёнкой и морские большие корабли. Что-то будет кричать толстая весёлая наша повариха, призывая каспрыбаков к порядку.

Папа принесёт тебе тарелку ухи с плавающим в ней куском осетрины и ломоть хлеба.

Ты ещё не знаешь ни про мгновенье прекрасное, ни про мгновение неповторимое, – но это было оно.

6

В конце 1964 года, за шестнадцать лет до объявленного наступления коммунизма неожиданно для большинства его строителей в стране начнутся перебои с молоком и хлебом.

Вообще-то и раньше особого изобилия не наблюдалось, но по мере приближения к коммунизму становилось всё хуже.

Побывавший в Астрахани Хрущёв вызовет всеобщую ненависть и презрение трудящихся одной своей фразой, что, мол, кому-кому, а волжанам грех жаловаться, тут с удочкой прошёлся по берегу – вот и сыт.

Сами вышеупомянутые волжане оценят эту остроумную находку вождя таким образом, что, услышь их отклики непредвзятый наблюдатель, речи заводивших машину солдат из твоего городка показались бы ему изысканным старомодным комплиментом.

Безумец улетит в Москву то ли соединять совнархозы со свиноматками, то ли дарить Херсон бурятам, а мы, которые с удочками, останемся.

Осенью вероломные партайгеноссе вообще попросят его выйти вон, но лучше от этого не станет.

Лучше станет только тогда, когда все они наконец-то выйдут вон, но до этого надо будет ещё дожить.

Той осенью – в ожидании квартиры – вы поселитесь у твоего дяди, папиного брата Петра в самом центре города.

Ты проснёшься сам, без будильника, около пяти утра, в душной тесной комнате с закрытыми ставнями, быстро на ощупь оденешься, возьмёшь приготовленные для тебя с вечера деньги и трёхлитровый бидон, выйдешь на промозглую от ноябрьского ветра, пустынную улицу имени борца за светлую жизнь товарища Трусова и отправишься в Морской сад. Он неподалёку, просто хочется спать и пробирает озноб.

Морской сад в этот ранний час уже живёт своей жизнью: у хлебного магазина на углу колышутся тени, кто-то закуривает, кто-то лениво поругивается или в голос зевает. Ты находишь последнего, тебе передают синий химический карандаш, которым ты выводишь свой трёхзначный номер на красной от ветра ладони. Это за хлебом.

Потом ты занимаешь очередь за молоком. Теперь можно просто бродить по дорожкам садика и спокойно наблюдать за вновь подходящими горожанами – эти уже за тобой.

Светает. Чем бы заняться? Можно представлять, как обрадуются взрослые, когда встанут и увидят твою добычу. Можно ещё думать, вспоминать городок, Светку с Валеркой, виноградную беседку, озеро у крепости султана Санджара.

Так проходит час, другой, третий. Ты уже не на шутку продрог.

Вот, наконец, привозят жёлтую бочку с молоком, открывается магазин с хлебом, толпа привычно вытягивается в длинную очередь, разбирается по номерам. Домой ты возвращаешься победителем: буханка чёрного, два батона и три литра молока.

Ну вот, за хлебушком ты уже сходил, пора в школу.

7

Чем тебе запомнится твой шестой класс в астраханской центральной десятой школе? Как ни странно, ничем. Разве что пением. Вы будете зачем-то учить наизусть «Гимн демократической молодёжи» на английском языке, не понимая ни единого слова, равно как и глубокого смысла всего прогрессивного произведения.

А ещё в твоём классе ребята возьмутся петь на школьном вечере песню чудесного Шпаликова из безобидного, проверенного, утверждённого кинофильма. Как известно, там есть слова:

*Над лодкой белый парус распушу,
Пока не знаю, с кем,
Но если я по дому загрузу,
Под снегом я фиалку отыщу, ну и так далее.*

И вот во время репетиции в зал войдёт страдающая цензорским зудом классручка, послушает и, по всей видимости, не желая ни отыскивать под снегом фиалку, ни, тем паче, распускать белый парус потребует заменить слова «пока не знаю, с кем» на «пока не знаю, где».

Пороптив, вы подчинитесь, хотя педагог поступила явно опрометчиво: в стране Советов уж лучше было не знать, с кем ты собираешься распускать пресловутый парус, чем задаваться странным вопросом, где лучше это сделать. Не знать первое было легкомысленно, второе – небезопасно.

Где, где... Естественно, на родине.

Правда, и времена стояли глухие. После финта пилота Беленко и появления анекдота про рекламный плакат «МИГом – в Японию» она бы остереглась.

Больше за год учёбы ты не запомнишь ровным счётом ничего.

Нам дадут квартиру – «трёшку» в хрущобе. Твой первый и последний астраханский район будет называться Болда по названиям речек Прямая Болда и Кривая Болда, протекающих неподалёку волжских рукавов. Это сразу за железнодорожным вокзалом. Места, может быть, воздушные, но чужие после наступления темноты прогуливаться там не любили.

Ты проживёшь там уже четыре года, когда поздно вечером тебя ослепят фонарём, прижмут к выцветшей кирпичной стене интерната и уже соберутся молотить, как вдруг ты услышишь голос, исходящий прямо с небес:

«Эй, кончай на хер. Чё, ослеп что ль – это же Сашка, он у нас двум классам английский делает. Здорово, Санёк».

8

Тебе интересно и важно понять, сколько стоят деньги. В смысле, сколько надо затратить усилий, чтобы купить, допустим, транзистор. Так называли портативные радиоприёмники. В каникулы ты стремишься устроиться на работу, смутно подозревая, что нельзя не иметь своих денег и быть при этом свободным. Тебе ещё невдомёк, что бывает такая несвобода, что и деньги не в счёт.

Ты ничего не умеешь и боишься, что твой труд ничего не стоит, что он никому не нужен. Тебе надо убедиться в обратном самому и доказать другим. Ты стесняешься своей неловкости почти так же болезненно, как своей внешности: длиннющий, худющий, сутулый. Грудь впалая, зато, как тогда шутили, спина колесом. Ты хочешь себя перебороть.

Ты устраиваешься на сбор яблок, потом вишни, ещё через лето – помидоров.

Вот летнее утро, ты, наскоро перекусив, выходишь на Перевозную улицу. Солнце уже высоко, хотя нет и семи. Показывается твой грузовик, в кузове женщины в платках сидят на деревянных лавках. Они двигаются, освобождая тебе место, подтрунивают.

В усадьбе колхоза «Заветы Ильича» Наримановского района под навесом, спасающим от солнца и дождя, висит разлинованный лист ватмана, на нём сверху даты, а сбоку – фамилии, в том числе и твоя, и тебя это очень радует: тебя тоже посчитали. В квадратах – цифры, это количество ящиков собранных помидоров. В субботу подсчитывают твой результат за неделю и обводят цифру в кружок.

Платят мало, зато разрешают каждый рабочий день взять домой одно ведро помидоров.

Вас везут на поле, указывают полосу. Уже очень жарко. На помидорах отчего-то зелёный налёт, и через час твои пальцы становятся тоже зелёными и зудят. Хочется пить, от зноя темнеет в глазах.

Ты механически срываешь чёртовы плоды, тащишь полный ящик к дороге, отбираешь самые хорошие в ведро – домой.

Перед обедом женщины моются в протоке, при этом смущаешься ты, а не они.

На обратном пути твои товарки затягивают свои бесконечные старинные грустные волжские бабы песни, ты пленяешься их красотой и печалью. Из песен ты узнаёшь, что всех баб побросали ихние милёнки из-за подлых разлучниц или же их (милёнков, не баб же) забрали во солдаты, и вот эти такие славные, но такие несчастные бабы клонятся у Волги как ивушки и жалуются речке на судьбу-злодейку. Речка их жалеет, и от этого им легче становится.

Почему-то тебе становится легче тоже.

Тебе четырнадцать. Тебе нравится эта жизнь. Ты любишь слушать эти протяжные длинные песни-истории. Ты научаешься не краснеть, когда бабы болтают невесть что или сватают тебе тут же сидящую чью-нибудь дочку.

Между тем родители занимают у соседей банки и крышки и закатывают твои помидоры. Ты наработал на всю зиму и ужасно этим гордишься.

Ты гонишь прочь мысль о школе. Не к ночи будь помянута.

9

В качестве награды за участие в битве за урожай родители берут тебя с собой в город Ейск. Мама уже совсем плохо ходит, а наш вагон ночью останавливается не у платформы, а там, где она уже кончилась, его крутая лесенка висит над насыпью, мама кричит, что не будет прыгать, папа снимает её с площадки, еле удержавшись на ногах, а мама плачет от стыда и бессилия.

Всё тебе нравится в этом маленьком уютном городке, кроме того, что вода с сиропом в автомате, во-первых, здесь стоит не три копейки, как везде, а пять, а во-вторых, она солоноватая и потому противная. Ну, и за что прикажете такой город любить?

В Ейске ты продолжаешь знакомиться с роднёй уже по линии матери. Если в Армавире есть одна сестра твоего американского деда – тётя Женя, то в Ейске их целых две: тётя Нина и тётя Галя. Первая – одинокая и бездетная заслуженная учительница РСФСР (одна на весь Ейск), у неё на стене висит её собственный фотопортрет с орденом. Вы остановитесь в её доме, полном книг и журналов.

Тётя Нина расскажет твоей маме, как она в юности любила молодого человека, и как он от красных бежал в донские плавни, потерялся, стал священником, женился. Потом узнал о ней, и писал, писал, пока незадолго до нашего приезда не умер, а она так и прожила этими письмами всю жизнь, утешаясь ими да любимыми своими учениками, уча их русскому и литературе.

Ты случайно услышишь эту красивую, книжную историю, ты увидишь письма, написанные мелким твёрдым почерком священника на больших листах бумаги, успеешь выхватить несколько старинных страстных слов.

Узнав о твоём увлечении журналом «Юность» и всем, что с ним об эту счастливую для журнала и его читателей пору было связано, тётя Нина умиляется и разрешает покуситься на святое. Ты можешь просмотреть все имеющиеся у неё толстые журналы типа «Новый мир», «Нева», «Звезда», «Москва» и тому подобные за последние годы и аккуратно *выдрать* из них всё, что твоей душе угодно.

Тебе четырнадцать, и твоей душе угодно выдрать Евтушенко и Рождественского, Вознесенского и Окуджаву, Беллу Ахмадулину и Юнну Мориц, Василия Аксёнова и Анатолия Гладилина, Анатолия Кузнецова и Аркадия Арканова, сочиняющего смешные истории под псевдонимом Галка Галкина.

Ты не веришь своему счастью, без устали выдираешь, подписываешь и раскладываешь это своё богатство.

Через сорок пять лет после того лета у тебя останется только повесть Гладилина «История одной компании».

10

Но и это ещё не всё: у второй дедовой сестры и маминой тётки Гали есть сын Юра, который прибыл на Азов из далёкого северного Подольска на авто с неизвестно какой по счёту юной женой, но главное – с магнитофоном и несколькими кассетами с песнями Высоцкого. Ты валяешься на азовском берегу и под шум волн слушаешь Высоцкого, потом слушаешь его же у них в саду и, наконец, Юра дарит тебе одну кассету, начинающуюся с твоей уже любимой «Уходим под воду в нейтральной воде».

Ты ничего подобного не слышал да и не мог слышать, но тебе понятно, что это про то, что надо делать, когда выхода нет.

Тебе не приходит в голову, что всего через шесть коротких лет у заснеженного служебного выхода из Театра на Таганке после спектакля «Павшие и живые» Владимир Семёнович распишется на твоей программке, расстеленной на твоей армейской фуражке, и скажет: «Извините, ребята, я побежал. Видите – меня ждут», а из рядом припаркованной машины какие-то девушки будут размахивать руками и кричать «Володя!».

Так у тебя появится первый из хранимых тобою трёх автографов. За ним последуют Иосиф Бродский и Михаил Горбачёв.

А ещё у тёти Гали есть муж дядя Лёша, который в своей весёлой питерской молодости с кем только не покутил. Бывал и в компании Сергея Есенина. Недрогнувшей рукой снимет дядя Лёша – светлая ему память! – известный любителям поэзии бирюзовый пятитомник Есенина со своей книжной полки и вручит тебе, начертав следующую дарственную надпись: «Сашенька, дарю тебе пятитомник. Это память сердца о том, с кем я встречался сорок с лишним лет назад и немножко жил. Люби его так, как я в свои семьдесят лет люблю сейчас. Дядя Лёша».

И, наконец – как будто этого счастья мало! – тебя отпускают одного на «Ракете» прокатиться через Азовское море из Ейска в город Жданов и обратно. Ты мчишься по морским волнам на подводных крыльях и сочиняешь письмо в город Нью-Йорк своему деду.

Ты напишешь ему о поэтах из толстых журналов, которых – поэтов – он не знает, о его добрых ейских сёстрах, которых он помнит и любит, о ярком азовском солнце и быстром белом корабле.

В Жданове ты забежишь на почту и опустишь письмо в почтовый ящик, не догадываясь ни о Белосарайской Косе, ни о семействе Безухов, ни о будущей своей жене и маме Ладочки и Арканьки, ни о том, как часто тебе предстоит бывать в этих краях, как сроднятся с этим местом твои старшие дети – ни о чём!

Ты летишь обратно в Ейск, взгляд твой скользит по темнеющим волнам, кончается такой бесконечный, такой счастливый, такой летний день, тебе грустно, а почему – теперь не вспомнить.

11

На следующее лето ты устраиваешься путевым рабочим. Железная дорога недалеко от дома, тебе пятнадцать лет, а посему ты работаешь только с восьми до двух. Ты домкратчик.

Ещё прохладно, когда ты прибегаешь к «железке», и мрачный бригадир ставит крестик напротив твоей фамилии в списке бригады. Вместе с другими мужиками и бабами ты облачаешься в оранжевую безрукавку и едешь на дрезине или в раздолбанном облезлом вагоне за Астрахань-вторую. Там вы меняете шпалы.

Ты руками разгребаешь щебень, засовываешь лапу домкрата под рельс и поднимаешь его вместе с несколькими шпалами, со скрипом качая вверх-вниз длинный и грязный рычаг. Мужик огромной кувалдой бьёт по зависшим шпалам, те падают и их уволокивают, ухватив здоровенными щипцами, чтобы не трогать руками ядовитый креозот, которым они пропитаны. Под рельс вместо них просовывают новые шпалы, ты опускаешь рельс, и кто-нибудь вколачивает в них новые костыли, крепя к ним таким образом рельс. Ты быстро осваиваешь это нехитрое ремесло.

Здесь ты впервые услышишь, как матом не ругаются, а на нём просто разговаривают бабы всех возрастов, от двадцати до пятидесяти, ничуть не смущаясь твоим присутствием.

Недели через две ты принесёшь домой новенькую ярко-зелёную ассигнацию с Лениным – пятьдесят рублей. На эту зарплату ты купишь для дома транзисторный приёмник «Планета»,

а ещё билет до Питера, куда мама с папой собрались в гости к маминому двоюродному брату дяде Володе Бычкову.

«Планета» будет много лет рассказывать про новости и погоду, а по воскресеньям поздравлять всех с добрым утром и хорошим днём, а эту поездку ты не забудешь никогда.

Тебе так и было сказано: хочешь ехать – заработай на билет.

Конечно, хочу. Кто же не хочет поехать в Ленинград?

Тебе ещё не доводилось бывать в большом городе, не считая детской поездки в Москву, из которой только и запомнилось, что очередь из машин-такси, ожидающих клиента, папа в форме с мамой и с тобой на вокзале идёт вдоль этой очереди «Москвичей» и «Волг» с оленями на капотах, мы садимся в огромный блестящий чёрный ЗИМ, другие таксисты ропщут, а весёлый дядька за рулём отбивается: «Ну что бузите? Не видите – лётчик на ЗИМе хочет».

12

Про ленинградского дядю Володя Бычкова ты знаешь только то, что в юности он подвизался в кино у режиссёра Ефима Дзигана, потом заделался химиком, на войне очень быстро попал в плен, где мыл колбы в химической лаборатории у немцев, за что впоследствии был бит на допросах в СМЕРШе и даже сидел в советском лагере, и ещё что он обязательно один раз в день буквально на пару минут забегает в рюмочную в доме напротив, и что у него никогда не было жены и детей, зато подружек навалом.

Дядя Володя умеет невероятно быстро и очень красиво писать крохотными печатными буквами. У него необычное отчество – Минович. А ещё у него большая библиотека, только у нас в Астрахани многотомная классика, а у дяди Володи много фантастики и научно-популярных книг и журналов.

На время нашего визита он переедет к подруге, а нам отдаст свою комнату в гигантской коммуналке, в которой ты вплоть до отъезда будешь встречать всё время новых, незнакомых тебе людей, причём удивляться этому будешь только ты, а они будут вежливо здороваться и проходить по своим делам, чем будут изумлять тебя ещё больше.

Дядя Володя будет одну за другой курить сигареты «Солнце», роняя пепел на лацканы пиджака. Тебя он будет называть по-старинному «племянничек», всё время при этом посмеиваясь, и тут же, без размышления, подарит тебе популярное изложение теории относительности Эйнштейна в переводе с английского.

Он поведёт нас на концерт ленинградского мюзик-холла и в театр Райкина, будет показывать свой любимый Ленинград, при этом всё время посмеиваясь каким-то своим мыслям. Усадив тебя с мамой в кондитерской, он увлечёт папу в свою рюмочную. «Ирочка, мы буквально на одну минутку».

В Питере ты впервые увидишь троллейбус и попробуешь цветную капусту. Капуста понравится тебе больше, чем троллейбус. Её будет готовить дяди Володина подруга – демоническая дама из вымирающего племени коренных ленинградцев, очень похожая на молодую артистку Раневскую. Она тоже много курит, громко говорит и заразительно смеётся.

В 70-е годы дядя Володя единственный из всей родни посетит твоего американского деда, каким-то образом получив загранпаспорт и визу, обгорит на пляже Де Сото Бич, до основания прокурит дедов флоридский дом своим «Солнцем» и сломает, упав с дедовой лестницы, ребро.

Причём дядя Володя и дед будут излагать эту печальную историю совершенно по-разному: первый станет утверждать, что дед послал его на крышу посмотреть там что-то вроде протечки, а потом от жадности даже не вызвал врача, а страховка травмы, полученные в результате лазания по крышам не оплачивает, тогда как второй будет обижаться на чёрную дяди Володину неблагодарность, заявляя, что дядя Володя обкурился своим проклятым вонючим

«Солнцем», которого привёз в Америку пачек сто, напился приобретённого в местном супермаркете дешёвого виски и зачем-то вздумал слазить на крышу.

В Москве вы с Юркой встретите его больным и несчастным и посадите на самолёт до родного Питера. В дальнейшем на все просьбы рассказать про Америку и про деда дядя Володя будет только посмеиваться и приговаривать в том смысле, что «дядюшка, конечно, человек хороший», но лучше всё-таки из Питера никуда не уезжать, что ему и там хорошо и что от добра добра не ищут.

13

В 1974 году поздним ледяным мартовским вечером вы с Ириной позвоните указанное у звонка количество раз в дяди Володиной ленинградскую дверь, прибыв из Москвы без предупреждения, чтобы он больше обрадовался. Радость, однако, придётся отложить на потом, ибо открывшая вышеупомянутую дверь заспанная дама заявит, что его нет дома, и захлопнет дверь пред нашими покрасневшими от холода носами, даже не пригласив войти и не осведомившись, кто мы, откуда и зачем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.